

Эдуард
ТОПОЛЬ



*Римский период,
или
Охота на вампира*

Эдуард Тополь

**Римский период, или
Охота на вампира**

«Эдуард Тополь»

2011

Тополь Э. В.

Римский период, или Охота на вампира / Э. В. Тополь — «Эдуард Тополь», 2011

ISBN 978-5-17-071280-9

Захватывающий политический детектив знаменитого Эдуарда Тополя – прославленного драматурга и сценариста, но прежде всего известного и любимого во всем мире писателя, книги которого изданы во всех европейских странах, в США, Японии и, конечно, в России! Первые приключения русских эмигрантов на Западе, роковой любовный треугольник, драматическая охота за вампиром-террористом, который выбран орудием политических и шпионских интриг и выпущен на свободу. Роман читается на одном дыхании!

ISBN 978-5-17-071280-9

© Тополь Э. В., 2011

© Эдуард Тополь, 2011

Содержание

Предисловие	6
Пролог	7
Часть первая	9
Конец ознакомительного фрагмента.	59

Эдуард Тополь

Римский период, или Охота на вампира

НЕ ВСЕ ФАКТЫ И ХАРАКТЕРЫ ПЕРСОНАЖЕЙ, ФИГУРИРУЮЩИХ В ЭТОЙ КНИГЕ, ЯВЛЯЮТСЯ ПЛОДОМ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ АВТОРА И НЕ ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЯ К ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ. МНОГИЕ – ИМЕЮТ.

Предисловие

Я люблю сам представлять читателям свою новую книгу. Для этого я даже прилетаю в Москву и в день выхода книги стою в книжном магазине «Москва», что на Тверской. С плохим скрываемым тщеславием я радуюсь там очереди моих читателей, с удовольствием отвечаю на их вопросы и огорчаюсь, когда эта очередь иссякает. Но порой среди этих «моих» читателей ко мне подходят люди, которые случайно оказались в магазине, увидели толпу у прилавка и подошли из чистого любопытства или российской страсти к очередям. Они никогда меня не читали и теперь, стоя перед двадцатью разными книгами, стопками выложенными на прилавках, мнутя и спрашивают в затруднении:

– А вы, как автор, какую книгу посоветуете купить?

И этим вопросом они выбивают у меня почву из-под ног.

*При всей моей завышенной самооценке я не могу сказать человеку: заплати за мою книгу. А вдруг мы с ним не подходим друг другу? А вдруг мои книги не в его вкусе? И как мне угадать вкус этой девчонки или этой пожилой дамы? Ведь я так хочу им понравиться! Ведь я так хочу, чтобы, прочитав одну мою книгу, они взяли вторую, третью, четвертую... Я не верю писателям, которые говорят, что популярность их не интересует, что они пишут для вечности. Чушь! Двадцать моих книг – это двадцать лет жизни, нет, не жизни: по словам моей жены, «когда ты пишешь книгу, никакой жизни нет!». Но если я трачу на каждую книгу год **жизни**, то я хочу убедиться, что эта жертва не зря.*

Как же мне сказать, какая книга лучше или хуже?

В последнее время я научился отвечать на этот вопрос. Я говорю: а вы для чего читаете? Чтобы развлечься? Чтобы узнать что-то новое? Чтобы интимно побеседовать с автором? И в зависимости от ответа я рекомендую начать либо с «Чужого лица», либо с «Китайского проезда», либо с «Игры в кино», либо... – ну и так далее.

А поскольку мне хочется захватить внимание как можно большего числа людей самых разных вкусов, я стал придумывать своим книгам двойные названия: «Женское время, или Война полов», а теперь вот – «Римский период, или Охота на вампира». «Римский период» – это для читателей, которые меня уже знают, а «Охота на вампира» – для тех, кого я хотел бы занимательной интригой этого романа оторвать от макулатуры, выходящей под аналогичными названиями...

Насколько мне это удастся, я буду судить по вашим письмам, которые жду от вас по адресу: Москва, Звездный бульвар, 21, издательство «АСТ», редакция художественной литературы, Эдуарду Тополью.

Желаю приятного чтения.

Автор

Пролог

ПОДПИСКА О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И НЕРАЗГЛАШЕНИИ

Я, Вадим Плоткин, без гражданства, прибывший в Рим 5 февраля 1979 года по советской выездной визе № 5704-АЗ, письменно подтверждаю, что добровольно и по собственному желанию соглашаюсь помогать сотрудникам Американского посольства в Риме в операции «Pupìl». При любом исходе этой операции обязуюсь в течение последующих 20 (двадцати) лет сохранять в тайне все ее обстоятельства, никогда не упоминать об этой операции ни в печати, ни в своих фильмах, ни в разговорах даже с самыми близкими друзьями и родственниками.

Подпись:

(Вадим Плоткин)

27 марта 1979 года

*Американское посольство в Риме,
виа Венето, Рим, Италия*

Этот исторический документ я сам отпечатал на посольской пишущей машинке, расписался и протянул его Грегори Черни.

– Ну? – сказал я нетерпеливо.

– «Ну, милая, трогай!..» – усмехнулся он, демонстрируя свое знание российской словесности.

Я промолчал. Мы были знакомы больше месяца и чуть не половину этого срока пьянствовали ночами (за его счет) по римским кабакам, так что мне уже ни к чему было разводить тут политесы и восхищаться его безукоризненным русским. Рожденный в США, Грегори Черни, сорокалетний потомок самой первой, двадцатых годов, волны беженцев из России, никогда не бывал в СССР, но его русский был не хуже моего, и только одна деталь выдавала его иноземное происхождение – пристрастие по любому поводу щегольнуть цитатой из русских классиков. Впрочем, как я теперь понимаю, это свойственно всем отличникам славянских факультетов Америки и Европы. А у Грегори его университетский русский был отшлифован под московское произношение на славянском отделении в лучшей – Монтерейской – лингвистической школе американской военной разведки.

Пробежав глазами мою расписку-подписку, Грегори бросил ее в ящик своего письменного стола и молча протянул мне другой лист бумаги – плотный, с водяными знаками и с маленьким гербом ЦРУ вверху. Текст на этом листе был отпечатан четким типографским шрифтом самой последней – «кулачковой» – модели пишущей машинки, но читал я его медленно, поскольку переводил с английского:

Мистеру Грегори Черни, срочно, суперсекретно

По нашим сведениям, Москва заслала в Италию каннибала, с тем чтобы 10–11 апреля, во время еврейской Пасхи, он под видом еврейского эмигранта совершил ритуальное убийство итальянского ребенка.

Никаких дополнительных сведений, к сожалению, не имеем.

Предположения и рекомендации нашего аналитического отдела:

В настоящее время СССР, нуждаясь в американском зерне, трубах для газопровода «Сибирь – Европа» и нефтяных бурильных станках, вынужден довести квоту выпускаемых евреев до 50 тысяч в год, что вызывает резкий протест арабских стран, опасющихся увеличения населения и армии Израиля. В связи с этим КГБ намеренно заполняет поток эмигрантов стариками, больными, работниками торговли и пищевой промышленности, а также проводит дискредитацию еврейской эмиграции, инфильтрируя в ее среду значительное количество преступников, выпущенных из советских тюрем...

– Ага! – воскликнул я, прервав чтение. – Вот! Это как раз то, что я говорил Дэвиду Харрису еще в венском ХИАСе!

– А что вы говорили? – спросил Грегори. Несмотря на дружбу, скрепленную огромным количеством алкоголя, мы с ним продолжали быть на вы, и это, пожалуй, была вторая деталь, выдававшая его несоветское происхождение, – Грегори ни с кем из эмигрантов не переходил на ты (в отличие от нашего брата совка, который на второй день по прибытии на Запад стал тыкать всем и вся, даже старикам).

– Ну как же! – ответил я. – Я написал статью «Как КГБ отомстил сенатору Джексону» – о том, что за вето на режим благоприятствования для СССР КГБ выбросил из тюрем массу уголовников, всучив им еврейские паспорта и выездные визы.

– А, это я читал! – отмахнулся Грегори.

– Вы не могли это читать! Дэвид уговорил меня не печатать статью, чтобы не компрометировать нашу эмиграцию.

– Я знаю. Но у Дэвида есть копировальная машина. Вы думаете, почему я с вами познакомился?

Я изумленно уставился на Грегори, мысленно отбросив себя назад, к нашей первой встрече в Ладисполи на дне рождения одного из эмигрантов. Так вот зачем он так нагло прошелся тогда по поводу нашего потока эмиграции, сказав, что половина его – жлобы и дикари! Провоцировал меня и проверял, блин! А я-то вспыхнул, как бенгальский огонь!..

– Читайте же, – напомнил он о шифровке.

...Однако внедрение уголовников в среду эмигрантов не дало желаемых Москвой результатов – советские криминальные элементы не совершают в Италии преступлений против итальянцев (за исключением мелкого воровства в магазинах), а ограничивают свою преступную деятельность эмигрантской средой.

Вынужденное по экономическим причинам увеличивать эмиграцию, с одной стороны, и оказавшись, с другой стороны, под давлением арабских противников Израиля, требующих прекращения этой эмиграции, Политбюро ЦК КПСС, мы полагаем, поручило КГБ любыми способами скопрометировать еврейских эмигрантов. И, выполняя это задание, в КГБ решили пойти на повторение в Италии знаменитого дела Бейлиса об употреблении евреями крови христианских младенцев при изготовлении пасхальной мацы...

Я в ужасе поднял глаза на Грегори.

Он усмехнулся:

– Да, дорогой. Представьте, что с вами будет со всеми, когда этот еврей-людоед сожрет итальянского ребенка. Да еще под стеной Ватикана...

Часть первая ВЕНСКИЙ ТРАНЗИТ

В моем словаре еврей – это тот, кто считает себя евреем или обречен быть евреем.

Амос Оз, израильский писатель

1

– В 2238 году со дня сотворения мира мы пришли в Египет. Потомки Якова, внука Авраама, мы пришли туда сами во время сильного голода в Ханаане, нас было семьдесят человек. Как сказал Томас Манн, путь из земли Ханаанской в Новое Египетское царство – это путь от праотцев, созерцавших Бога, к высокой ступени цивилизации с ее приманками и доходящим до абсурда снобизмом...

Я не помню, чтобы кто-нибудь из нас повернулся к иллюминатору бросить прощальный взгляд на занесенные снегом ельники вокруг шереметьевского аэропорта. Двадцать семь эмигрантов-беженцев, мы, буквально замерши, сидели во втором салоне самолета и не верили ни реву турбин, ни тряске нашего «ТУ-124», бегущего по взлетной полосе. Неужели? Неужели это произошло? Неужели нас выпустили?

В первом салоне летят четверо советских дипломатов – надменно-отстраненные, в одинаковых серых костюмах и с глазами, глядевшими сквозь нас, как сквозь пустое место, еще там, в зале ожидания на втором этаже аэровокзала. А в третьем салоне сидят немецкие и австрийские туристы. Их тоже привезли к самолету и посадили отдельно от нас, как от прокаженных, а нас подвезли к трапу буквально за минуту до отлета – в обшарпанном автобусе, замороженном до инея на заклепках. Впрочем, вру – кроме нас, эмигрантов, был в этом автобусе еще один человек; сначала мы даже приняли его за своего, но уже через минуту стало ясно, кто это. Высокий, широкоплечий, рыбы глаза на бетонном лице, шляпа горшком, узенький засаленный галстук на несвежей рубашке, мощная грудная клетка и пистолет под мышкой распирают потертый пиджак...

Когда, продержав нас у выхода из аэровокзала на продуваемом морозным ветром летном поле так долго, что у моей семилетней племянки Аси забелели щеки и я, бросив свою пишмашинку, у которой несколько минут назад таможенники на моих глазах выломали букву «ф», подхватил Асю на руки и сунул под пальто, – когда, повторяю, все-таки подали этот гребанный автобус, бетоннолицый сфинкс был уже внутри его, он стоял там впереди, возле шофера, и молча смотрел, как мы входим и рассаживаемся. Ася по праву ребенка привычно пошла к первому ряду кресел, но жесткой рукой гэбэшника этот сфинкс тут же отстранил ее, как котенка, и так и стоял во главе пустых кресел, молча, как пень, все четыреста метров от вокзала до самолета. Зато в самолете он прошел через весь наш второй салон и сел в конце его, в последнем ряду, чтобы обозревать нас всех, как конвой.

Но нам уже было наплевать на него!

Как только самолет взлетел – да, как только мы ощутили, что колеса оторвались – **оторвались!** – вы понимаете – **оторвались!** – мы **ОТОРВАЛИСЬ** от советской земли, – Валерий Хасин громко и даже весело сказал:

– Не понимаю, они что? Боятся, что мы угоним самолет обратно в СССР?

Жена тут же одернула его:

- Тише! Не дразни его, черт с ним!
- Но ведь я уже на свободе!
- Не знаю... – осторожно ответила она.

Да, мы уже были на свободе, нас уже выменяли на техасские бурильные станки, зерно и кукурузу, но мы еще не простились с советской властью. И это было почти символично: в пустом салоне советского самолета 27 евреев – потных, усталых, возбужденных и немых после двухсуточных мытарств в Шереметьевской таможне, с детьми, со сморщенной и парализованной старухой Фельдман, которая только что у трапа сотворила чудо (когда двое провожатых вынесли ее на руках из автобуса, она вдруг оттолкнула их: «Опустите меня! Пустите! Я сама уйду с этой земли!», встала на ноги и, шатаясь, действительно сама вошла по трапу!), и с 24-летним гигантом-сварщиком из Одессы, умирающим от лейкемии, на двух разложенных креслах (весь рейс он лежал с кислородной маской на лице, а его отец и я каждые десять минут трогали его босые желтые ноги – не остывают ли?), – так вот, мы, 27 эмигрантов, и немцы-австрийцы, тут же после взлета прибежавшие из третьего салона на помощь больному (среди них оказался врач, он дежурил возле умирающего весь рейс и заставил командира самолета сообщить в Вену о необходимости подать к прилету самолета специализированную машину «скорой помощи» с установкой для срочного переливания крови), – и все это был один полюс, человеческий и естественный. А рядом, всего в нескольких метрах от нас, был полюс другой – четверо кремлевских дипломатов, безучастно засевших в первом салоне, и наш бесстрастный конвой, торчавший в конце салона и наблюдавший за нами с каменно-пустым лицом...

(2001. Сегодня, двадцать два года спустя после того полета, я практически без правки снова¹ переписываю на компьютер эти строки из дорожного дневника Вадима Плоткина и поражаюсь, как тогда, в 79-м, буквально наавтра после прилета в Вену, он на сломанной советскими таможенниками пишущей машинке залом стучал страницу за страницей этого дневника – ожесточенно, набело, без помарок...)

Те четверо дипломатов уже отстранились от нас, «предателей Родины», для них мы перестали существовать как люди, но их представитель с пистолетом под мышкой еще смотрел нам в затылки холодными дулами своих гэбэшных глаз. Большой лейкемией сварщик мог умереть – этот гэбэшник и с места бы не сдвинулся, парализованная Фельдман могла явить новое чудо, скажем, взлететь под потолок на своих высушенных старческих косточках, – он бы и бровью не повел. Но в таком случае на хрена он летел с нами и на кой черт он грел под мышкой табельный пистолет Макарова и семь маленьких по 6,1 г кусочков свинца калибра 9 мм? Неужели они боялись, что мы – старуха Фельдман, умирающий сварщик и моя семилетняя племянка-скрипачка – ринемся в пилотскую кабину, чтобы угнать самолет в Израиль?

Да, боялись!

Они нас **боялись**! И именно потому он грел под мышкой свой табельный ПМ...

Кто-нибудь из тех австрийцев, американцев и англичан, которые без всякого таможенного досмотра проходили мимо нас на посадку в самолет и с отчужденным изумлением смотрели, как таможенники потрошат наши узлы и чемоданы, прощупывая каждый шов на нижнем белье, изымая серебряные вилки и семейные фотографии, вспарывая пакеты с манной крупой и лекарствами, ломая затворы фотоаппаратов и клавиши пишущих машинок («А вдруг они золотые?» – с издевкой сказал мне таможенник), – кто-нибудь из них может себе представить, что это такое – жить в стране, где правительство и мудрая правящая партия боятся своих

¹ Своим постоянным читателям приношу извинения за повтор – эта глава из дневника Плоткина была опубликована в 1990 году в романе «Московский полет», который теперь завершает мою «Еврейскую трилогию»: «Любожид» (или «Русская дива»), «Римский период, или Охота на вампира» и «Московский полет». Те, кто читал и помнит «Московский полет», могут пропустить эту главу. – Э.Т.

граждан, держат их под прицелом своих Первых отделов и Пятого управления КГБ и греют под мышкой шесть граммов свинца персонально для каждого? Греют и с высоты своей власти смотрят на тебя пустыми глазами, ожидая команды, чтобы нажать курок, или бросить тебя в ГУЛАГ, или лишить работы, прописки...

(...Блин! думаю я сегодня, почему в той России, которую нынче зовут демократической, уже никто не помнит о том времени? Почему нет в печати голой правды о подсоветской жизни? Почему нет мемуаров про обыденную совковую жизнь в очередях за сахаром и мукой, маслом и мясом по талонам? Почему нет в школах сочинений на тему «Проклятое время коммунизма», как мы писали о «проклятом царизме», и почему даже совковый гимн возрожден новодемократическим строем? Право, кто-то мудро сказал, что у народов нет памяти. Но у меня сохранился дневник Плоткина, и в нем сказано:)

...Теперь мы улетали с этой земли, мы ОТ-летали от нее, а от всего арсенала советской власти – всех ее тюрем, лагерей, паспортного режима, пятого параграфа и морального кодекса строителя коммунизма – за нашими спинами оставалось всего-навсего шесть граммов свинца под мышкой у бетоннорылого гэбэшника – ну кто же будет обращать на них внимание в такой ситуации?!

Мы громко шутили, вспоминая Шереметьевскую таможню, и возмущались последней выходкой пограничников – тем, что нам не разрешили проститься с родными, которые приехали проводить нас.

Да, это было странно. Ведь обычно после таможенного досмотра и прохождения границы пассажиры поднимаются на второй этаж аэровокзала и оттуда, с балкончика, машут рукой провожатым, кричат им последнее «Прощайте!» или «Шалом!». Сколько раз я сам провожал отъезжающих друзей и коллег – Москва в те годы пустела буквально на глазах, вот уже и Богин улетел, и Маркиш, и Севелла, и Суслов, и Сокол, и Калик, и Бениаминов, и Круглый², и Галича вынудили к эмиграции, и менее знаменитых, – а я все стоял там, внизу, махая рукой отлетающим, гадая о своем часе и страшась, что он не наступит, что – не выпустят! О, этот балкончик! Он стал так знаменит, что кто-то в Израиле опубликовал проект Памятника Улетающему Еврею – улетающему с этого балкончика. А кто-то из диссидентов даже песню о нем сочинил...

Может быть, поэтому нам теперь и не позволили махнуть с этого балкона родным и близким, и моя сестра стала просить пограничников выпустить на него хотя бы семилетнюю Асю, чтобы девочка могла сказать «До свидания!» своему отцу. И я видел по лицу молоденького узбека-пограничника, как он заколебался, глядя в просящие Асины глазки, но тут подошел старшина-разводящий и твердокаменно приказал моей сестре:

– Отойдите от границы!

И тогда сестра, ожесточившись, быстро, какими-то судорожными движениями открыла футляр детской скрипки-четвертушки, окованной пломбами Министерства культуры, и стала совать ее Асе, прилаживая подушечку к ее плечу и приговаривая:

– Сыграй! Сыграй, Асенька! Только громко! С полным звуком! Пожалуйста! Твой папа услышит! И поймет, что это ты для него играешь!..

Ее просто лихорадило, и я не знаю, чего было больше в этом – желания хотя бы этим детским концертом отомстить за испорченные подушки и конфискованные таможней Асины рисунки, наши семейные фотографии, лекарства и детское питание или действительно

² Михаил Богин – кинорежиссер, лауреат Московского и международных кинофестивалей; Давид Маркиш – журналист, ныне израильский писатель; Эфраим Севелла – писатель; Михаил Суслов и Юрий Сокол – ведущие кинооператоры «Мосфильма»; Михаил Калик – кинорежиссер, постановщик фильма «Я иду за солнцем»; Александр Бениаминов и Лев Круглый – киноактеры.

стремления хоть таким путем послать нашим провожатым последнее прости. Может быть – поровну...

Так или иначе, Ася опломбированным смычком тронула струны опломбированного грифа своей опломбированной, словно в свинцовых наручниках, скрипочки (впрочем, и не своей, потому что ее-то итальянскую скрипку-четвертушку Министерство культуры вывезти не разрешило, пришлось купить ей советскую) и сказала матери:

– Третья струна опять расстроена, слышишь?

– Не важно! – торопила ее Белла. – Играй!

– Нет, я не могу так...

В Московской консерватории эту девочку считали вундеркиндом и приучили серьезно относиться к игре.

Белла нетерпеливо подтянула струну и спросила у дочки:

– Так?

Ася прошлась смычком по этой струне, кивнула утвердительно – и первые такты Шестой сонаты Генделя полоснули воздух второго этажа аэровокзала.

– Полнее! – сказала моя сестра. – Полнее звук!

На ее лице было торжество – звуки крохотной Асиной четвертушки с неожиданной мощью заполнили зал, они явно пересекали границу и вторгались на ту, нижнюю и еще советскую, территорию зала ожидания. Пассажиры-иностранцы оглянулись на нас со всех сторон зала, но тут в глубине этого зала распахнулась служебная дверь, оттуда вышла негодующая фрейлина в форме пограничных войск СССР и дубовой солдатской походкой направилась к нам.

В это время по радио объявили посадку на рейс № 205 Москва – Вена.

Ася отняла смычок от скрипки и вопросительно посмотрела на меня и на мать.

– Играй! – сказала ей Белла. – Играй!

Пограничница подошла, спросила резко:

– Это что еще за концерт?

– Это не концерт, это репетиция, – ответила ей сестра. – Она должна каждый день заниматься, сейчас как раз время.

Две женщины стояли друг против друга, между ними был ребенок со скрипкой и замершим в воздухе смычком со свинцовыми пломбочками, а они смотрели друг другу в глаза – долго, по-женски упорно.

Несколько иностранцев подошли поближе в ожидании инцидента.

На настенных часах было 9.20 утра, в 9.40 мы должны были вылетать, это истекали наши последние минуты на советской земле.

– Это вам объявили посадку? – спросила пограничница.

– Нам! – с вызовом сказала ей Белла.

– Вот и летите. Там будете концерты давать.

– Да, – ответила сестра. – Для того и летим.

Пограничница, не ответив, взяла у Аси скрипку и смычок, внимательно осмотрела пломбочки Министерства культуры, разрешившего вывезти из СССР эти музыкальные инструменты, положила их в футляр и ушла.

Инцидента не произошло, и иностранцы двинулись своей дорогой в валютную «Березку», а мы подхватили Асину скрипку и мою пишмашинку и пошли на посадку. Я не знаю, слышали ли наши провожатые там, внизу, этот детский скрипичный концерт...

Теперь, утомленная нервозностью бессонной таможенной ночи, Ася тихо спала в кресле самолета между мной и сестрой, уронив голову на свою кроличью шубку, которую мы подложили ей вместо подушки. Она дышала спокойно и глубоко, приоткрыв во сне свои пухлые детские губки. Футляр с маленькой скрипкой лежал на ее коленях, но мы уже не трогали его,

чтобы не разбудить девочку. Мы просто посмотрели друг другу в глаза. Где-то там, за нашими спинами, в глубине салона еще сидел этот последний гэбист с пистолетом под мышкой, но мы уже твердо знали, что этим полетом завершается их власть над нашими жизнями и жизнью этого ребенка. Мы вырвали этот саженец, этот корешок нашего рода из советского рая, где даже этой семилетней девчужке открыто сказали в Московской консерватории, что, если она хочет играть в концертах, ей нужно сменить фамилию...

– Слушайте, у меня в чемодане были серебряные вилки и ложки, – говорил впереди меня Валерий Хасин. – Я не указал их в декларации. Там написано: укажите золото и драгоценности. Но ложки моей бабушки – какие же это драгоценности? Так они их конфисковали! «Контрабанда»! Какая контрабанда, когда они лежали наверху чемодана, я их не прятал! А когда я отказался подписать акт о провозе контрабанды, они устроили гинекологический осмотр моей жене и маме. Я с ними чуть не подрался, а мама сказала: «Валера, ты оставил им квартиру, машину, сберкнижку и должность инженера. Так уже отдай им эти вилки, пусть они подавятся!»³

– Слушайте сюда, – весело сказал мужчина слева. – У нас в ОВИРе главный инспектор женщина, Елена Петровна. Я приношу документы на эмиграцию – израильский вызов, все справки; ну все как положено. Она говорит: «Так, пять кило баранины, три кило говядины, финскую колбасу, икру и рижский бальзам. Чтобы к четырем часам все было, тогда уедешь». Ну, хорошо, ради такого дела, сами понимаете, не жалко. Но вы же знаете, что сейчас делается с продуктами, – ничего ж нету даже на Привозе! Как я мясо доставал на мясокомбинате, это целая история, но – достал, ладно. Теперь колбасу и икру. Хорошо, у меня «Жигули», объехал всех друзей, просто искал у них по холодильникам. Нашел. Теперь бальзам. Бальзама нет ни у кого, даже в буфете обкома партии. Ладно, еду в порт, даю двадцатник буфетчику в баре, он меня водит по всем кораблям. Ну нет у ребят рижского бальзама, ни у кого! А время идет. Ребята говорят: «Бери отборный армянский коньяк, двадцать лет выдержки, это не хуже!» Хорошо, беру подарочный набор армянских коньяков, все в красивую корзину укладываю, приезжаю в ОВИР упакованный. Захожу прямо с корзиной к ней в кабинет, говорю: вот, все достал, кроме рижского бальзама. Зато, говорю, привез вам армянский двадцатилетний коньяк, это не хуже. Она говорит: «Нет, у меня сегодня день рождения, хочу рижский бальзам!» Что делать? Еду к себе на завод, прихожу прямо к директору: «Степан Афанасьевич, выручай! Я тебе из Америки что хочешь пришлю!» Он говорит: мне ничего не надо, только дочке нужны джинсы фирмы «Леви». Я говорю: нет вопросов, прямо из Рима высылаю. Он пишет записку своей жене, я еду к нему домой, забираю у его жены рижский бальзам. И опять в ОВИР. А там уже закрыто, мент у двери говорит: ждите. Ладно, два часа стою на улице в такую погоду, под дождем, жду. Она выходит пьяная в сопровождении двух пьяных гэбэшников. Увидела меня, узнала, залезла в машину: «Вези домой, на Четвертый Фонтан!» Хорошо, привез. Выходим из машины, она впереди шатается, я за ней с корзиной. Она открывает дверь и говорит: «Мама! Возьми, тут жиды продукты принесли!»...

– Это что! – сказала худенькая, с простуженным красным носом Лина, у которой таможенники в последний момент сняли с руки последнее кольцо. – Вы знаете, как издеваются на Ленинградской таможне? У моего приятеля были краски – обыкновенные краски в тубах. Они спрашивают: «Вы художник?» – «Да, я художник». – «А где ваш мольберт?» – «Вот». И знаете, что они сделали? Они прокалывали каждый тюбик и выжимали краски на мольберт! До остатка!

– А вы видите моего сына? – Старик Гриншпут показал на 24-летнего сварщика из Одессы. – У него белокровие, у меня есть заключение врачей, что его могут вылечить только в Бостоне. И справка, что ему положено в день двадцать таблеток. Так я пошел к самому начальнику Шереметьевской таможни и сказал: «Вот мой военный билет, я всю войну прошел

³ См. Приложение 1.

капитаном артиллерии, имею два ранения и восемь орденов. И вот справка, что я диабетик и моя жена диабетик. Конечно, вы можете не пропустить наши лекарства, если хотите. Мы это переживем. Но у моего сына лейкемия, если ему не принимать лекарство несколько часов, он умрет!» И знаете, что он мне ответил? «Не летите». Вот и все. Наглая скотина – «Не летите»! Я говорю: «Но вы же иногда разрешаете вывозить немного лекарств – я видел». Так он даже улыбнулся: «Здоровым разрешаем». Вы поняли, как они над нами издеваются? Как собаки, хватают за штанину, чтобы урвать последний клоч! Посмотрите на этого немца. – Гриншпут кивнул на врача, который, сидя на корточках, считал пульс его сыну. – Сколько ему лет? Может быть, я его отца грохнул из гаубицы во время войны, а он с моим пацаном возится. А эта сволочь, за которого я свою кровь пролил... Но я вам говорю: Бог есть! Пусть они будут иметь наши ковры, вилки и лекарства, но они будут иметь и наше горе! Бог должен быть!..

– Молодой человек, – повернулся ко мне мужчина из переднего ряда, – вы не переживайте за вашу машинку. В Вене я вам ее запаяю...

– Чем ты запаяешь, Гриша? – сказала его жена. – Они же забрали у тебя паяльник и весь инструмент!

– Не слушайте ее, – улыбнулся Гриша. – Они не на тех напали! Я вам на спичках запаяю. Вы будете бутерброд?

Мы обменивались бутербродами и воспоминаниями, анекдотами и сигаретами, мы почти насильно угощали австрийцев шоколадом «Аленка», твердя им, что это же «рашен чоколадо, лучший в мире!», и австрийцы принужденно откусывали от шоколадных плиток в разорванных таможенниками обертках; и в этой суете, возбуждении и хлопотах над умирающим сварщиком мы совершенно забыли о нашем конвоире.

А он сидел там, сзади, один, курил и молча буравил наши затылки своими рыбьими глазами. И в венском аэропорту он первым вышел из самолета – его вахта кончилась. Он сошел по трапу, сел в служебный австрийский автобусик, но уехать еще не мог – должен был дожждаться экипажа самолета. И на его глазах мы спускались по трапу в этот новый мир.

В Вене, которая значительно южнее Москвы, стоял не по сезону теплый день. Солнце, чистенький, как лакированный, автобус у трапа и две беленькие санитарные машины, ожидающие нашего больного сварщика, а неподалеку – невысокое стеклянно-бетонное здание венского аэропорта, – здравствуй, новый мир. Какой ты?

Не успеть ни понять, ни почувствовать – нужно выгружать вещи, нужно помочь спуститься по трапу сестре с дочкой и всем остальным. За два часа полета мы стали как одна семья, и, проводив сестру и Асю в автобус, я бегу обратно в самолет, подхватываю на руки парализованную старуху Фельдман, несу ее вниз, в автобус, и чувствую, что она легче пера – ну, 30 кило, ну, 40 от силы, а Бог мне дал в эти минуты такие восторженные силы, что кажется, я могу нести эту старушку в ладонях. Я сажаю ее в автобус, и снова бегу вверх за вещами Гриншпутов, и уже на трапе спиной чувствую что-то острое, холодное, чужое.

Я поворачиваюсь скорее инстинктивно, чем осмысленно, и тут же встречаю взгляд этих рыбьих гбэшных глаз. Но нет, теперь это не рыбы глаза! В них появилось выражение и даже чувство, но какое! Ненависть. С каким удовольствием он достал бы сейчас припрятанный под мышкой табельный пистолет и всадил в меня всю обойму! Но поздно, господа, проморгали антисоветчика! Если я и не был им до отъезда, то стал таковым за эти две ночи ваших издевательств в шереметьевском аэропорту...

Усмехнувшись в его ненавидящие глаза, я повернулся и легко, с еще большей прытью избежал по трапу в салон самолета. Здесь санитары укладывали на носилки больного сварщика, его отец и мать причитали рядом, а его молодая толстая жена тихо рыдала в соседнем кресле, держа на руках грудного ребенка и раскачиваясь в такт своему плачу.

Я взял у нее ребенка – почти силой отнял – и сказал: «Пошли!»

Когда женщины плачут, им нужен твердый мужской приказ.

Она покорно встала и пошла за мной к двери, на ходу теряя вязанные детские ботиночки.

Я вышел из самолета на трап с этим грудным ребенком в руках. И нашел взглядом моего гэбиста. И так, глядя ему в глаза, я выносил из советского самолета, я уносил с их советской территории еще одного еврейского ребенка, и не было в эту минуту на земле человека счастливее меня, поверьте. Я чувствовал себя сионистом, бойцом, воином. Если бы он вытащил сейчас пистолет, я бы закрыл этого ребенка своей грудью. Есть вещи, о которых не стыдно писать, даже если принято в таких случаях проявить скромность. Я не стыжусь сказать, что то была минута, когда я был стопроцентным евреем и стопроцентным человеком. Не знаю, как другим, но мне такое сочетание дается не часто.

Я спускался по трапу, глядя этому гэбэшнику прямо в глаза, и так же, глядя ему в глаза, внес этого ребенка в автобус, и было уже что-то такое напряженное в дуэли наших глаз, что моя сестра сказала поспешно:

– Я тебя умоляю: не дразни его!

– Почему? – улыбнулся я, передавая ей ребенка и не отрывая взгляда от глаз этого гэбэшника.

Но тут он и сам отвернулся. Он отвернулся с деланно равнодушным лицом, но мы-то с ним хорошо поняли друг друга. Он отвернулся и вышел из автобуса, пересел в микроавтобус, поданный советскому экипажу, и вместе с ними укатил к аэровокзалу – надеюсь, теперь уже навсегда из моей жизни...

(Но уже через два месяца, в Италии, перечитывая эти строки после визита в Американское посольство к Грегори Черни, мой герой горько усмехнется своей наивности – что эта безобидная дуэль взглядов по сравнению с тем вызовом, который послал нам вдогонку КГБ к празднику Пасхи! Где и как найти того каннибала, которого они послали в Италию? По каким приметам? В Риме, Остии и Ладисполи нас больше десяти тысяч – как же искать эту иголку в трех стогах сена? А Пасха – вот она, через две недели!..)

2

Да, никто из них не повернулся к иллюминатору бросить прощальный взгляд на шереметьевский аэропорт. А зря. Потому что именно в этот день, 25 января 1979 года, на посадочную полосу аэропорта приземлился еще один «ТУ», прибывший из золотой, как тогда говорили, Праги. И когда, сутуло кутаясь от морозного ветра в пальто и шарфы, они поднимались в свой самолет, по пустому трапу пражского самолета легкой походкой сбегал вниз загорелый моложавый брюнет в светло-бежевом кашемировом пальто, темно-синем костюме, белоснежной сорочке и при галстук в сине-бордовые полосы, под стать его костюму и туфлям. Одного взгляда на его прямую фигуру, свободно развернутые плечи и костюм, сшитый по фигуре буквально «с иголки», было достаточно, чтобы понять – иностранец. Двадцатиградусный московский мороз вызвал легкую улыбку на его красивых под усиками губах. Впрочем, улыбку легкообъяснимую – прямо у трапа его ждала черная «Волга» с включенным мотором и двое мужчин, бетоннолицых, но с приветливыми улыбками на лицах.

А рядом с ними стояла тонкая, как стручок, двадцатипятилетняя шатенка в очках, синем поношенном пальто, вязаной шапочке набекрень, в темной «водолазке» под горло и в тяжелых сапогах на низком каблуке. В ее глазах, увеличенных стеклами очков, брюнет мгновенно прочел то сочетание отчуждения, настороженности и любопытства, которым любые аборигены всегда встречают чужеземцев, и улыбнулся еще ослепительнее.

Тем временем следом за иностранцем из самолета вышел еще один кирпичелиций с тяжелым кожаным чемоданом в руке, багажом новопривывшего. При виде этого чемодана один из встречавших тут же распахнул багажник «Волги».

– Бонджорно, синьор! – сказала ему шатенка низким голосом и продолжила также по-итальянски, показав на открытую заднюю дверцу машины: – Andare indietro! Сюда, пожалуйста...

Синьор, легко пригнувшись, нырнул в машину, шатенка тут же деловито села по его левую руку, а прибывший с иностранцем «кирпич», забросив чемодан в багажник, – по правую. Двое встречавших стремительно сели впереди – один за руль, второй рядом с ним, и машина с места рванула от трапа прямо к воротам аэропорта – без всякой таможни и паспортного контроля.

Только после этого стюардесса, заслонявшая дверной проем пражского самолета, отступила в сторону и пассажиры цепочкой потянулись вниз, к подкатившему к трапу автобусу.

– Вы так легко одеты, синьор! У нас сегодня минус двадцать три по Цельсию, – укорила в машине шатенка новоприбывшего иностранца все тем же низким голосом. – Меня зовут Елена, я ваша переводчица и гид. – И по-русски попросила водителя: – Прибавьте печку, Сережа. Не дай Бог, мы его простудим...

– Винсент, – коротко представился иностранец. – Но вы можете звать меня Винни, это еще короче...

Тут водитель вымахнул на Ленинградское шоссе и, распугав ревунотом и мигалкой шарахнувшийся по сторонам транспорт, пулей помчался по осевой полосе.

– Мамма миа! – воскликнул Винсент. – Куэсто ми пьаче! Мне это нравится! Куда мы едем? В Кремль?

Елена усмехнулась:

– Разве вам не нужно отдохнуть с дороги? Мы едем на дачу, но через Москву. Вы уже бывали в Москве?

– Нет, конечно! Я первый раз в России... – Винсент, с любопытством оглядываясь по сторонам, показал на гигантский придорожный щит с портретом Брежнева: – А что тут написано?

Елена перевела текст, припорошенный снегом:

– «ЛЕОНИД ИЛЬИЧ БРЕЖНЕВ – МУДРЕЙШИЙ, ТАЛАНТЛИВЕЙШИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ!»

Произнесенный ее низким бархатным голосом, этот текст вдруг прозвучал проникновенно и почти эротически.

– Magnifico!⁴ – воскликнул Винсент и посмотрел на растяжку, висевшую над шоссе. – А здесь?

– «ПАРТИЯ – УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ!»

– Perfetto! А тут? – Он живо повернулся к щиту с портретом Ленина, поднявшего ладошку к доброму прищурю глаз.

– «ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ!»

Винсент расхохотался – заразительно и безыскусно.

Елена изумленно вскинула на него очки, а сопровождающие «кирпичи» посмотрели на нее вопросительно – мол, чему он смеется?

– Фантастико! – сказал Винсент. – Кампанелла! «Город солнца» в России! А тут что написано? Тоже про революцию?..

Впрочем, в Москве его жизнерадостного оптимизма слегка убывло – то ли от того, что город был накрыт низкими облаками, набухшими снегом, то ли от магазинных витрин, сиротливо уставленных пирамидами консервных банок, то ли от вида сутулых москвичей, которые тащились по тротуарам вдоль этих витрин с тяжелыми авоськами в руках⁵.

⁴ Великолепно! (*ит.*)

⁵ В СССР был очередной дефицит продуктов питания, и масло, мясо и прочее «давали», кто помнит, только на предприятиях «по полкило в одни руки». – Э.Т.

А может быть, Винсенту стало не до смеха потому, что, несмотря на мощно гудящую печку и жару в салоне, пол машины оставался ледяным и его ноги в модных итальянских туфлях просто подмерзли.

Но еще тревожнее стало его лицо, когда «Волга» после короткого тура по Москве вновь выскочила из города и, проехав по узенькому Рублевскому шоссе, вдруг резко свернула влево, под заснеженные лапы гигантских сосен, а метров через двести уперлась в высоченные и глухие железные ворота. По обе стороны ворот шел трехметровый кирпичный забор – глухой, с колючей проволокой на гребне.

Винсент в тревоге посмотрел на Елену.

Однако она лишь загадочно улыбнулась, а один из сопровождающих «кирпичей» вышел из машины, подошел к воротам и нажал неприметную кнопку под железной, словно от почтового ящика, накладкой. Тотчас эта накладка приподнялась, в узкой прорези показались чьи-то глаза. «Кирпич» что-то сказал, накладка упала с металлическим звуком, затем за воротами послышался лязг отпираемых запоров, и наконец тяжеленные, кованые, будто средневековые, створки ворот стали медленно открываться под нажимом двух солдат-автоматчиков в длинных овчинных полушубках, валенках и шапках-ушанках. За ними, во все расширяющемся про свете, обнаружилась очищенная от снега дорога в дремучем сосновом бору...

– Это ГУЛАГ? – деланно улыбнулся Винсент. – Куда мы приехали?

– Я же сказала, вам нужно отдохнуть с дороги, – уклончиво ответила Елена.

– Да, но...

Машина миновала ворота, и Винсент непроизвольно оглянулся – автоматчики, всем телом налегая на тяжелые створки, уже закрыли ворота и теперь задвигали скрипящие запоры.

А впереди, за стволами гигантских заснеженных сосен, показался бело-желтый двухэтажный особняк.

– Это бывшая дача Сталина, – сказала Елена. – Здесь вас никто не потревожит.

3

– ...Сначала мы жили в области Гошен, плодородной и обильной пастбищами и скотом. Отсюда мы могли кочевать по всей стране и очень скоро расплодился и стали жить не в шатрах, а в домах, занимаясь земледелием и ремеслами. Иосиф, сын Якова, возвысился до звания главного советника фараона, но египтяне все равно смотрели на нас с презрением и снобизмом, ведь мы не верили в их рукотворных богов...

Господин Вильчицки – маленький, пожилой, вежливый и суетливый польский еврей, представитель Израиля – встречал нас за стеклянной дверью венского аэровокзала.

– Господа, поздравляю вас с прибытием на свободный Запад!

Он собрал наши визы и открыл блокнот, чтобы записать в него тех, кто едет в Израиль. Оказалось, что из 27 новоприбывших только моя сестра с дочкой направляются в Израиль, а остальные хотят в США и Канаду. Но Вильчицки был корректен:

– Хорошо, господа, пойдемте со мной.

И повел нас в таможенный зал получать наш авиабагаж. Здесь чемоданы моей сестры без всякой проверки отложили в сторону и погрузили на тележку грузчика. Нам же, «прямикам», Вильчицки предложил выбрать по одному чемодану на семью для жизни в Вене, а остальной багаж мы должны были сдать в камеру хранения. Конечно, мы еще в Москве слышали о том, что в Вене, где у нас лишь краткосрочная пересадка по дороге в Рим, все чемоданы брать с собой в отель не разрешают, а этот единственный «венский» чемодан будут досматривать. И все-таки... Все-таки было что-то оскорбительно-сadayщее в том, что это именно он, Виль-

чишки, стал рыться в наших чемоданах, запрещая брать с собой в отель ту или иную вещь, которая, на его взгляд, могла быть предметом спекуляции. Да, человек, который в эти минуты олицетворял в наших глазах весь Израиль, – что же он делал? Своими маленькими пожухлыми ручками он рылся в наших вещах, вытаскивал из них и откладывал в сторону то кипяtilьник, то банку икры, то алюминиевую кастрюлю. И мы понимали почему: в алюминиевой кастрюле можно с помощью кипяtilьника сварить курицу в гостиничном номере, а это запрещено австрийскими правилами... Но по мне, лучше бы он обозвал меня предателем за то, что я не еду в Израиль, и ушел бы с моей сестрой, оставив работникам австрийской таможни разбираться с моими вещами. Я смотрел бы в его гордую маленькую спину и понимал, что он прав. Но тут...

– Вы видели? – процедил Хасин сквозь зубы. – А они еще хотят, чтоб мы ехали в Израиль! А сами роются в наших чемоданах, как на советской таможне!

Тень сомнения легла и на лицо моей сестры, сидевшей с дочкой на скамейке под вывеской «Lost and Found», и я тут же спросил господина Вильчицки:

– А если она сейчас раздумает лететь в Израиль, вы отдадите ее вещи?

– Конечно. Отдать? – ответил он и тут же крикнул что-то по-немецки австрийскому грузчику, который уже двинулся с ее вещами к выходу из зала.

Грузчик с автокаром послушно остановился, ожидая нашего решения.

И это были секунды, которые надорвали наши сердца. Мы с сестрой смотрели друг другу в глаза. Молчал господин Вильчицки, молчали окружающие нас «прямики»-эмигранты, и австрийский грузчик в сером фирменном комбинезоне стоял неподвижно у тележки с четырьмя сиротливыми чемоданами моей сестры и ее ребенка.

Одного моего слова было достаточно, чтобы решить их судьбу. Там, за стеклянной стеной зала ожидания, были Австрия, Италия, Америка, и если бы я сказал: «Останься со мной», Белла сгрузила бы свои вещи, поехала со мной, и кто знает, как сложилась бы наша общая судьба... Но я не произнес этого слова, потому что в Московской консерватории вундеркинду по имени Ася Абрамова сказали, что лучший в мире скрипач-учитель профессор Феликс Андриевский работает в Тель-Авивской консерватории. Я вызвонил этого Феликса из Москвы, с Главтелеграфа, и он сказал мне, что если этот ребенок действительно играет Шестую сонату Генделя и Концерт ля минор Вивальди, то он берет ее в свой класс, – и это решило дорогу моей сестры.

Но сейчас, в эту секунду...

Я смотрел в лицо своей сестры, утомленное бессонными ночами последних сборов в эмиграцию. Ее щеки, запавшие после стервозного шмона в советской таможне... Ее глаза... Ее надорванное сердце и больные легкие... Там, в Израиле, в Тель-Авиве сегодня плюс двадцать четыре, там цветут пальмы и мандарины, а в Италии, где нам всю зиму сидеть в ожидании въездной американской визы, даже в самых богатых домах нет отопления...

Нет, я не сказал ей: «Останься со мной».

– Битте! – распорядился Вильчицки, и австрийский грузчик в фирменном комбинезоне увез их вещи, а рядом со мной появилась какая-то женщина, сказала: «Пойдемте, нам сюда», и повела меня и гурьбу остальных эмигрантов не за моей сестрой, а в другую дверь, куда сыновья старухи Фельдман, прилетевшие из Штатов в Вену неделю назад, уже унесли свою мать.

Толкая перед собой тележку с чемоданом и пишмашинкой и полагая, что за этой дверью я вновь увижу сестру и племянку и прощусь с ними, я вышел из аэровокзала и обнаружил, что никакой сестры тут нет, а нас торопят в автобус. И тут я понял! Я понял, что уже простился с Беллой и Асей, что их увели от меня, увели – *насовсем!*

Мама моя! мне уже до лампочки эта свобода! Мама моя, мне уже до фонаря эти сверкающие, как в кино, ряды невиданных мной «мерседесов», «ауди», «вольв» и «фольксвагенов»!

И в гробу я видел свой чемодан, который нужно срочно грузить в багажник автобуса! Сестру! Дайте мне сестру! Дайте мне увидеть их еще минуту! Куда вы их дели?

Я бросаю чемодан и пишемашинку и мечусь по сторонам, пытаюсь вычислить, через какой выход их вывел из вокзала этот гребаный Вильчицки, я шарю взглядом поверх чьих-то голов, заглядываю в отъезжающие машины и вдруг...

Боже, спасибо тебе! – я вижу свою сестру в окне желтого микроавтобуса, который пронесится мимо меня!

Остолбенев от этого мимолетного видения, я еще секунду тупо стою на месте и только потом, когда этот автобусик входит в изгиб поворота к шоссе, я спохватываюсь и что есть духу бегу за ним, цепко держа взглядом его выпуклую желтую крышу. Я бегу за ним, как терьер за зайцем, как спринтер на Олимпийских играх, бегу что есть сил – прямо по мостовой, в густом потоке «мерседесов» и «ауди», и – вот где пригодились мои ежедневные пробежки целый год перед эмиграцией! – я догоняю этот микроавтобус! Я догоняю его уже на шоссе, стучу кулаком по крыше, и... они останавливаются.

Загудели сзади машины, сбились, как стадо, в пробку, но мне плевать, я распахиваю дверь автобуса и, почти задыхаясь, спрашиваю у сестры:

– Куда вас везут?

– Я не знаю, – отвечает она.

– Куда вы их везете? – говорю я Вильчицки, который сидит рядом с ней и Асей.

– За город, в наш лагерь. Не беспокойтесь, им там будет хорошо.

– Я смогу их навестить?

– Нет.

– Почему?

– Вас не пустит охрана.

– К сестре?! Как это не пустит? Дайте мне адрес!

– Я не могу. Вы что, не понимаете? Мы охраняем их от арабских террористов. Тут в любое время может быть теракт и стрельба.

– Хорошо, – смиряюсь я. – А телефон? Я могу им позвонить?

Он отрицательно качает головой и произносит с мягким польским акцентом:

– Не беспокойтесь, с ними будет все в порядке. – И кивает водителю: – Битте...

И – они уезжают.

А я стою посреди шоссе, два потока лакированных машин обтекают меня, как корягу, я стою на их пути, словно пень, и слежу глазами за удаляющимся микроавтобусом с выпуклой желтой крышей.

На какой срок оторвал я их от себя и доверил Неизвестности? Никогда в России я не был от них так далеко, как с этой минуты, когда между нами в одночасье легли границы государств, паспортные режимы и эмигрантское безденежье. Мы разлучались порой надолго, да, после окончания музыкального училища Белла добровольно уехала преподавать музыку в какой-то глухой кубанский совхоз и жила там год, народоволка, и доработалась до затяжного приступа астмы, но при первом известии об этом я бросил занятия во ВГИКе, вылетел за ней из Москвы и – согнутую колесом, дышавшую только верхними краями легких – на руках унес из больницы, увез к нашей маме в Полтаву. А позже Белла, бросив всех своих кавалеров, приехала в Москву и нашла себе работу в трех часах от нее, в Шатуре – лишь бы быть поближе к своему единственному брату, бездомному и безработному в то блаженное время нашей юности... А когда умирала наша мама, я прилетел из Москвы в Полтаву, застал маму в больничной палате еще живой, и она сняла тогда с руки свое единственное – обручальное – кольцо и сказала тихо, как говорят умирающие:

– Отдай Белле. Не бросай ее...

Я не бросал ее, мама!

Я написал о ней пьесу, ты знаешь. Я поставил о ней фильм, ты знаешь. И когда разбогател, то перевез их всех в Москву – и Беллу, и ее гребаного мужа, и Асю, и купил им в Москве квартиру – им, не себе. А когда запретили два моих фильма и я решил, что баста, я не буду лизать зад этой власти, лучше камни бить на нью-йоркской мостовой, то, уезжая, я поставил в титры своего последнего фильма ее фамилию вместо своей, думая, что уеду один, но... она разошлась с мужем, чтобы уехать со мной. И вот теперь – в здравом уме, не подневольно, а только подчиняясь еврейскому инстинкту жертвовать всем ради своих детей – мы с ней впервые в жизни поступали не по сердцу, а по уму. Но буду ли я благословлять эту минуту или прокляну ее?

Я стоял посреди австрийского шоссе и смотрел им вслед.

Господи, сохрани их без меня и не разлучай нас надолго!

Желтый микроавтобус увозил их по солнечной аккуратной австрийской земле, и под этим солнцем не было ни одной диссонирующей ноты, которая заставила бы меня вновь догнать этот автобус, прижать к себе Беллу и Асю и не выпускать никогда.

Я стоял и смотрел им вслед, пока они не исчезли за дальним поворотом шоссе...

...По странному стечению обстоятельств, именно в этот день, 25 января 1979 года, арабские террористы совершили нападение на Израильское посольство в Вене, выстрелили в него ракетой. Мы, однако, еще ничего не знали об этом...

4

Сталин не любил эту дачу, но и не расставался с ней до конца своей жизни. Когда-то, едва став хозяином Кремля и всей России со всеми ее барскими усадьбами, Ясными Полями и Петродворцами, он выбрал себе эту дачу только потому, что до революции здесь было поместье кавказского генерал-губернатора, и самолюбие сына грузинского сапожника тешилось сознанием такой символичной экспроприации.

Потом оказалось, что дача крайне удобна – просторная, двухэтажная, с множеством комнат и двухэтажной ротондой, и недалеко от Москвы, всего полчаса на машине, но совершенно изолирована.

Сталин перевез сюда свою семью, расширил парк и окружил его высоким кирпичным забором, приказал построить на территории казарму для охраны и теплицу для выращивания овощей, а бальный зал перестроить под домашний кинозал и бильярдную. Но после смерти жены – то ли она сама застрелилась, то ли Сталин ее тут пристрелил, этого не знает даже Светлана Аллилуева – дача опустела, дети – Яков, Светлана и Василий – переехали в Москву, и Сталин до самой войны не приезжал сюда, обзаведясь новой дачей на окраине Москвы, в Матвеевском. С тех пор дача в Матвеевском стала именоваться «ближней», а эта, в Горках-2, соответственно «дальней».

Но перед войной он вспомнил о «дальней», приказал усилить ее охрану танками, а по всем сторонам глухого кирпичного забора сделать восемь ворот, чтобы в случае опасности рвануть с этой дачи на танке в любую сторону...

Потом, после войны – но еще не остыв от нее, – он распорядился проложить от Москвы до Горок-2 железную дорогу, а от Кремля до «дальней» – секретную подземную линию метрополитена. К самой же даче были пристроены крытый плавательный бассейн с гидромассажем и сауной, а также бытовка для постоянной прислуги. Вся эта работа говорит о том, что Хозяин собирался переселиться на «дальнюю» дачу основательно и надолго, но, похоже, воспоминания о кровавой семейной драме мешали тут даже ему, сталинскому Сталину, и он продолжал жить на «ближней», устраивая там попойки для своих «соколов», членов его карманного Политбюро.

Под самый конец, когда боязнь покушений на его бессмертную жизнь стала маниакальной до такой степени, что он каждую ночь менял спальни на своей «ближней» даче, он и на «дальней» велел все комнаты переделать под спальни, надеясь, наверное, простым секретным рывком с одной дачи на другую перехитрить не то своих воображаемых убийц, не то саму барыню Смерть.

Перехитрить, как известно, не удалось, он умер на «ближней» Матвеевской даче, и «дальняя» дача легла на руки кремлевского ХОЗУ во всем своем нетронутым сталинском виде – с одинаковой, как в казармах, светлой мебелью из карельской березы в спальнях, с текинским ковром и изразцовым камином в гостиной, с библиотекой и кабинетом на втором этаже, бильярдом в кинозале и гидромассажем в плавательном бассейне.

Прекрасная дача! С чистейшим и упоительным воздухом гигантских корабельных сосен, с просторным парком, дорожками для прогулок, теплицей, барскими беседками – ну просто живи не хочу!

Однако ни Маленков, ни Хрущев, ни Брежнев, ни члены их Политбюро, ни даже кандидаты в эти «члены» никогда не посягали на эту дачу, словно боялись встретить тут призрак сухорукого «гения всех времен и народов»⁶.

Зато самые избранные или самые секретные гости Кремля – Фидель и Рауль Кастро, Ульбрихт, Живков и им подобные – считали за честь переночевать на кровати «самого» Сталина, сыграть на *его* бильярде, попариться в *его* сауне и поплавать в *его* бассейне. И тогда – на практике – выяснилось, что именно здесь, вдали от официального Кремля, под кронами сталинских сосен и под психологической сенью его незримого призрака, очень удобно вести тайные переговоры с вождями западных компартий, арабскими лидерами и другими зарубежными гостями. Почему-то тут они становились сговорчивее, откровеннее, покладистее...

Так «дальняя» дача стала домом секретных свиданий – и не только политических...

Впрочем, всего этого Елена, конечно, не стала излагать Винсенту, да и сама, я полагаю, не знала. Но и того простого факта, что Винсента привезли на дачу *самого* Сталина, оказалось, как обычно, достаточно, чтобы и этот иностранец широко распахнул глаза и рот и с трепетом оглядывался по сторонам, как в таинственном храме.

Елена провела его по даче, показала плавательный бассейн, гостиную, кинозал с бильярдом, а потом повела по коридору второго этажа в глубину дома, открывая слева и справа двери в просторные спальни.

– Где вы хотите расположиться, синьор? Выбирайте.

– Неужели Сталин действительно тут спал? Fantastico! На этой кровати?

Она усмехнулась:

– Винсент, Сталин был человеком, как мы с вами. Тут в каждой спальне есть ванна и туалет. Он и ими пользовался, клянусь вам!

– О, я понял... А сколько я тут пробуду? Когда мы поедем к синьору Андропову?

– Товарища Андропова вы увидите завтра в восемь утра. Постарайтесь не проспать. Бонна ноттэ!

– Как, Элен?! Вы меня бросаете? Здесь? Наедине с духом Сталина? – Винсент с притворным ужасом схватил ее за руку. – Нет! Никогда! Я вас не отпущу! *Moriro qui di paura!* Я тут умру от страха!

Но Елена мягким движением выпростала свою руку и улыбнулась:

– До завтра, Винни. Мой рабочий день закончился. Чао.

⁶ Насколько я слышал, сейчас ее занимает Генеральный прокурор РФ – единственный, видимо, кто не боится встретиться там с призраком вождя. – Э.Т.

5

– ...Мы не верили в их рукотворных богов, и мы занимались ремеслами, которые они презирали. Мы разводили скот, добывали камень в каменоломнях, прокладывали дороги в пустынях, производили кирпич и черепицу и строили пирамиды для их фараонов, а они держали нас своими рабами...

Наверное, со стороны мы выглядели дикарями, впервые глазеющими из окон автобуса на волшебный мир западной цивилизации.

– Ой, смотрите сюда! Какая свалка автомобилей! Почти новые!

– Ой, какая чистота!

– А сколько магазинов – на каждом шагу!

– А на витринах что делается! Одних сосисок тридцать сортов!

– Мама, мама! Посмотри: колбаса прямо на витрине и нет очереди!

– Нет, вы видите, как подстрижены деревья?

– А какие дороги!

– А дома?! Слушайте, неужели все эти дома – частные?

– А цветы? С ума сойти – тюльпаны в январе!

– Нет, но витрины! Боже, сколько продуктов! Конечно, почему бы им тут не жить?..

Прокатив через ошарашивающе чистый, витринно-сказочный и разукрашенный рекламной центр Вены, автобус въехал куда-то в пригород, поднялся по холму и привез нас на Джорданштрассе в небольшой отель с вывеской «Zum Turken». Но едва я, волоча свой чемодан и пишмашинку, вошел в его вестибюль – о Боже, мне показалось, что я вернулся в СССР 1945 года, когда мы с мамой возвращались из сибирской эвакуации и сутками мыкались на переполненных сибирских вокзалах, спали на полу и пили из кружек, цепочками прикованных к баку с надписью «Кипяток». Крохотный и обшарпанный холл «Зум Туркена» был так же, как те вокзалы, забит детьми, их родителями, стариками и старухами. Прибывшие ночными и утренними поездами из Бреста и Чопа, они торчали здесь с раннего утра – ждали размещения. Стульев хватало только для стариков, те, кто моложе, сидят на своих узлах и чемоданах, а дети ползают по полу голодные, потные, сопливые. Какая-то мать кормит ребенка грудью, а другая сует своему малышу печенье, но он, зареванный, сипло твердит:

– Я не хочу печенье, я кушать хочу!

– Ну, Сема, пожалуйста! – просит она со слезами, и я вижу ее беспомощно разведенные руки, в которых только пачка сухого печенья. – Ты же видел, еду у нас забрали в Бресте.

А посреди этого эвакуационного шума, гвалта, плача детей и толкотни взрослых сидит за стойкой, как за волнорезом, портье и обзванивает другие пансионы, пытаясь спровадить туда новопривывших.

Бросив свой чемодан, я по киношной манере тут же протискиваюсь сквозь этот табор и иду посмотреть – а что же там, внутри отеля? Я прохожу по его коридорам и вижу, что трехэтажный «Зум Туркен» заселен теми, кто приехал раньше нас, и заселен до отказа – так, как заселялись, наверное, тифозные бараки в России двадцатых годов, – по шесть коек в каждом крохотном номере, а туалет общий и единственный на весь коридор, совмещенный к тому же с умывальником, – ну точь-в-точь как в моей бывшей армейской казарме. Грязь, гомон, плач детей, запахи сортира и вареной курятины...

Господи, говорю я себе, неужели и моя Ася жила бы здесь со своей скрипкой?

Но почему такое убожество – тут, на благословенном, мать его, Западе?

– А вы не знаете? – удивляется Гриша, мой паяльщик из Киева. – Да вы что! Мне уже рассказали! Хозяйка этого отеля мадам Беттина – легендарная женщина! Раньше у нее была сеть публичных домов, но когда ХИАС стал платить отелям по сто шиллингов за ночлег каждого эмигранта, она быстро превратила свои бордели в еврейские пансионаты, и теперь посчитайте: если селить в двухместный номер по восемь человек, это же триста долларов за ночь с каждой комнаты! Беттина сделала на нас миллионы!..

Я достал свой фотоаппарат, думая: Господи, если судьба сподобит меня делать фильм о нашей эмиграции, никакая, даже голливудская, ассистентка по актерам не найдет мне такую старуху, какая сидит тут в углу вестибюля. Седая, гладко причесанная, она заведенно раскачивалась и, безмолвно молясь сухими серыми губами, глядела на все это остановившимися и трагически-горестными глазами. Нет, я не могу описать всей глубины ее глаз – казалось, они видели не то, что было перед ней, а то, что она уже прожила и пережила в своей жизни, – от дореволюционных погромов до гитлеровских зверств в Белоруссии. И теперь, глядя на новый еврейский табор, прошлое всколыхнулось в ней и толчками раскачивает ее на стуле, как язык безмолвного колокола.

И тут же, среди этого шума, баулов, молитв и писающих детей, выхаживает высокий и хваткий администратор отеля господин Ленья, цепким опытным взглядом оценивает вас и вашу ручную кладь, с ходу приглашает избранных в свою конторку за лестницей и за пять минут скупает у новоприбывших то, что им удалось провезти через все заслоны советских и австрийских таможен, – водку, шампанское, икру, кораллы.

Потные, измызганные дорогой, измочаленные третьими и четвертыми сутками этих постоянных проверок люди уже ненавидят вещи, из-за которых они приняли столько мук, и именно сейчас, в эти минуты они – лучшая добыча для перекупщиков. Да, они оставили советской власти свои квартиры, мебель, ковры, музыкальные инструменты и серебряные вилки, и если бы им сказали, что уехать они могут только голыми, они бы и голыми, конечно, уехали, но раз уж сенаторы Джексон, Ванек и прочие заморские благодетели вырвали для этих людей право вывезти из СССР хоть какой-то скарб, то они, страшась неизвестности, везут то, что, по слухам, можно пусть за гроши, но все же продать в Вене и в Риме, чтобы купить детям лишний мандарин или пару туфель. И потому такой шмон на советских таможнях – таможенники, пользуясь своей бесконтрольной властью над этими «предателями Родины», рвут у них все, что могут и даже не могут, вплоть до обручальных колец и сережек из ушей. А теперь и здесь, в Вене, в первый же день свободы – этот Ленья из Ленинграда, кандидат, как он мне представился, медицинских наук, он психологию изучал в институте и знает, как разговаривать с людьми в таких экстремальных ситуациях – спокойно, деловито и доверительно: «Хотите продать? Я покупаю по такой-то цене. Нет? Не надо. Оставьте эту водку себе, пейте на здоровье сами!»

Веселая, живая работа! Евреи наживаются на евреях! Ленья – на новоприбывших эмигрантах, мадам Беттина – на Лене и на эмигрантах, а выше я не хочу заглядывать – зачем мне?

Увидев мой фотоаппарат, Ленья насторожился, выделил меня из толпы, пригласил за стойку, представил портье господину Рубинчику и увел нас в каморку администраторов пить кофе. Я с радостью отдал ему единственную бутылку водки и тут же, за первой чашкой кофе, открыто и азартно изложил замысел своего заветного фильма.

– Я буду делать об этом кино! А как же! – сказал я, ощущая себя разом и бывшим, как в юности, тележурналистом, и режиссером своего будущего голливудского блокбастера. Позабыв о том, что я сам эмигрант, я горячечно возглашал: – Я сделаю фильм о советских таможнях, о венском аэропорте, об израильской проверке наших чемоданов, о своей сестре и об этом вашем бардаке в «Зум Туркене»! Я столько слышал по «Голосу Америки» о миллионных пожертвованиях американских евреев на нашу эмиграцию – и что? Наши дети должны в первый же день эмиграции голодными ползать по грязным полам австрийских борделей?

– А что с вашей сестрой? – осторожно спросил портье.

Сорокалетний, черноволосый, хорошо одетый, в России сказали бы «фирменный» или «интеллигентный», у нас там этим словом выделяют любое неиспитое лицо, – он производил приятное впечатление, и я в двух словах рассказал ему о прощании с сестрой в венском аэропорту. Он усмехнулся:

– О, вы послушайте мою историю! Я тоже из Москвы, журналист-очеркист, моя фамилия Рубин. Точнее, Рубинчик, а Рубин – это псевдоним, может быть, вы меня читали в газетах. Но сейчас это не важно. Я приехал в Вену с женой, двумя детьми и, между прочим, с замыслом, близким к вашему, – я хотел писать книгу «Еврейская дорога». На аэродроме нас встречал тот же Вильчицки, он сказал те же слова: «Господа, поздравляю с прибытием на свободный Запад! Кто едет в Израиль?» «Мы!» – сказала вдруг моя жена. «Как? – изумился я. – Ты что?! Мы едем в Америку!» «Мы едем в Израиль», – сказала она и протянула Вильчицки нашу общую визу. Я закричал: «Ты с ума сошла! С чего ты взяла? Мы едем в Америку! Господин, отдайте наши документы, мы едем в США!» «Ты можешь ехать куда хочешь», – сказала жена, – а я с детьми еду в Израиль. И если ты любишь детей, ты поедешь с нами». И она уехала с этим Вильчицки в их израильский загородный лагерь Эбенсдорф – туда, куда он увез и вашу сестру. Я пробовал пробиться к ним, я звонил туда каждые полчаса – ведь у нас с женой никогда и разговора не было об Израиле! Но уже на следующий день ее и детей они первым же рейсом отправили в Тель-Авив. А я остался тут – без вещей, без денег, без документов. Слава Богу, Беттина взяла меня на работу. Конечно, она платит мне гроши, но это не важно, она меня спасла. И я люблю свою жену, старик! Я люблю жену и детей, и я стал звонить им и писать в Тель-Авив, в этот улыпан, где их поселили, и – похоже – уговорил ее вернуться. Она согласилась, я выслал ей все, что заработал, – 600 долларов, чтобы она могла купить билеты. Но в день, когда она пошла за билетами на самолет, «Сохнут» дал ей трехкомнатную квартиру. Понимаешь, я ничего не могу сказать – тут Израиль сработал блестяще. Никто там не получает квартиру раньше чем через полгода, некоторые и по году ждут – ты еще увидишь это по своей сестре. А моим дали квартиру через полтора месяца, и теперь она пишет, что счастлива, устроена и я должен приехать к ним. Выпьем, старик!

Мы выпили. Уже не кофе, а простую – нет, извините, не простую, а экспортную – русскую водку.

– Ты можешь мне дать телефон Эбенсдорфа? – спросил я Рубина-Рубинчика.

– Ты им не дозвонишься.

– Я попробую.

– Пожалуйста. – Он великодушно сам набрал телефонный номер и протянул мне трубку.

– Шолом! – услышал я в этой трубке.

– Шолом, – произнес я, представился по-английски и сказал, что хочу поговорить с сестрой.

– Они на завтраке, – сообщили мне после паузы, и я, успокоившись, положил трубку.

– Вот видишь, – усмехнулся Рубинчик. – И так будет всегда: они будут на завтраке, на обеде, на ужине, на лекции – до отъезда...

Тут распахнулась дверь, влетел Леня-администратор:

– Хозяйка приехала!

Появление мадам Беттины было подобно сигналу «Воздушная тревога!», с той только разницей, что все не ложатся, а сгибаются. Беттина – коренастая, неряшливо одетая пятидесятилетняя и коротко стриженная блондинка с крепким широким лицом, накладными ресницами и густо зашпаклеванными щеками, словно карикатурная кукла из театра Образцова, – быстро прошла за стойку портье, отперла ключиком свой личный телефон и тут же принялась названивать куда-то сразу по двум аппаратам, накручивая их диски шариковой авторучкой. Вокруг нее завихрились, забегали и засуетились служащие – Леня, Рубинчик, еще кто-то, а она, отдавая команды, кого куда поселить, договаривалась по телефону о местах в других пан-

сионах и отелях, о стирке простыней, о транспорте.... Точная, с острым и цепким взглядом, шумная, где нужно, и мягкая, где пожелает, она восседала за стойкой администратора, как одесская бандерша времен Бени Крика. А в кино ее могла бы замечательно сыграть Симона Синьоре, если ей плохо и наспех покрасить волосы пергидролем...

Я стоял поодаль, наблюдал. Было интересно следить за ней, за ее одновременными разговорами по телефону, со служащими и с осаждавшими стойку эмигрантами. Что-то актерское сквозило в ее манерах, но актерское не на публику, а для себя самой. И я понял, что ей нравилось то, что она делает и как она это делает, – с таким смаком Род Стайгер играл Муссолини, а Броневой – Мюллера...

... Именно в эти, как потом выяснилось, минуты арабские террористы, выстрелив ракетой по воротам Израильского посольства в центре Вены, бросили в него еще несколько ручных гранат и умчались в мини-вэне, а за городом, в замке Эбенсдорф, моя сестра и ее дочка во все глаза смотрели на еврейские ритуальные танцы, которые устроили в холле прибывшие из Бухары молодые хасиды...

6

Он проснулся в темноте и первую минуту все не мог сообразить, где он находится. В комнате было совершенно темно, а светящийся циферблат его наручных часов показывал 6:14, но он не знал, 6:14 чего – утра или вечера? И только тонкая струйка морозного воздуха, которая поддувала ему в ноги, да вес тяжелого одеяла вернули его памяти подробности его путешествия через Париж и Прагу в Москву и план, разработанный им с синьором Разлогоф, резидентом советской разведки в Риме.

Он выпростал руку из-под одеяла и по привычке к западным гостиничным удобствам протянул ее вверх и за голову, пытаясь нащупать выключатель бра или лампы. Но никакого выключателя не было, рука слепо шарила по высокой деревянной спинке кровати, и только тут он окончательно вспомнил: «Мадонна миа, я в Москве, и это же сталинская кровать! Я лежу в кровати Джозефа Сталина!»

Он замер в темноте и холодной свежести льняных простыней и хвойного воздуха. Дио санто! Боже святой! Он на даче самого Сталина! Вот это приключение! Какая жалость, что он никогда – никогда-никогда! – не сможет рассказать об этом своим студентам и особенно студенткам! Впрочем, когда-нибудь, наверное, сможет и даже книгу напишет. «В гостях у Сталина». А что? А почему нет?..

Винсент осторожно выскользнул из-под одеяла, ступил босыми ногами на коврик и тут же зябко потянул одеяло на себя, закутался в него и в темноте слепо, наугад шагнул вперед, шаря рукой перед собой, – туда, откуда сквозило по ногам этим морозным воздухом. Рука уперлась в тяжелый плюш, он повел пальцами к его краю, захватил этот край и отодвинул плюшевую гардину.

Теперь перед ним было большое окно с двойной рамой и высокой – не достать – форточкой, неплотно прикрытой. А за окном – тяжелый мертвенно-желтый снег на ветках гигантских сосен, черные стволы деревьев и тонкий саблеизогнутый месяц на черном, как театральный полог, небе. Почему-то именно эта мирная, казалось бы, картина вошла в его душу холодным жалом испуга. Куда он забрался? Да эти русские заживо его похоронят тут, сгноят в ГУЛАГе, отправят на урановые рудники, сотрут в порошок, выбросят псам на мороз, и ни одна душа в Италии никогда не узнает, куда он делся! И ведь он сам, сам полез в пасть этому русскому медведю! Сам принес в Советское посольство свою восхитительную идею! Герой вшивый! Гений в пижамных подштанниках!..

Но стоп, минуточку! Если бы они собирались его сгноить, разве привезли бы они его сюда, на дачу самого Сталина? И вообще, на хрена им известный итальянский психиатр, профессор Римского университета, в роли чернорабочего на урановом руднике? Выбросив его из игры, они не смогут воспользоваться его идеей, потому что, кроме него, никто, ни один психиатр в мире не сможет реализовать эту прекрасную идею...

Ободрившись, Винсент почувствовал голод и желание выпить. При лунном свете его глаза легко различили выключатель на стене у двери, он включил свет и, передернув плечами от озноба, сунул руку в свой чемодан, распахнутый на низком журнальном столике. Там, на дне, под стопкой одежды лежал его дорожный туалетный набор с электробритвой и плоская фляжка «Хеннесси». Он достал эту фляжку и на миг удивленно замер – как? Разве вчера перед посадкой самолета он выпил половину этой фляги? Впрочем, он был так возбужден и так трусил, что, может быть, и не заметил, сколько раз приложился к ней...

Ладно, Бог с ним, какое это имеет значение! Досадно не это, а то, что он вчера так легко отпустил эту русскую переводчицу. Сейчас бы она оказалась оч-чень кстати – с ее крохотной грудкой, осиной талией и высокой попкой *una cula*...

От одной, как в кино, вспышки его опытного воображения – с каким смаком он имел бы сейчас эту переводчицу на сталинской постели! – у Винсента пересохло в горле, он отпил из фляги еще раз, почувствовал, что согрелся, и уже без спешки извлек из чемодана свой туалетный набор, джинсы, теплые носки, мягкие мокасины и тонкий гарусный свитер фирмы «Polo». Разложив это все на кровати, он прошел в туалетную комнату, снова, после вчерашнего, удивился ее огромным размерам и старомодности ванны, унитаза и умывальных кранов, попробовал включить свою электробритву и тут же обнаружил, что вилка его итальянской электробритвы не подходит к русской розетке. Черт подери, как же он, небритый, поедет на встречу с синьором Андроповым?

Через минуту, умывшись (и удивившись странной облегченности флакона своего одеколona «Армани»), он вышел из спальни в темный коридор. Здесь было абсолютно тихо, и какое-то обостренное чувство любопытства, напряжения и страха подсказало Винсенту, что за всеми этими дверьми в соседние спальни и комнаты нет ни души. Медленно, даже как-то крадучись и ощущая себя персонажем из фильмов не то Хичкока, не то Антониони, он двинулся по этому пустому коридору, придерживаясь рукой за стену. Мягкие туфли и толстая ковровая дорожка на полу заглушали его шаги. Где-то здесь, посреди коридора, должна быть лестница. Да, прямо рядом со сталинским кабинетом и библиотекой. Неужели и Сталин вот так же неслышно ходил по ночам в этом коридоре? Черт возьми, почему здесь нигде нет его портрета или хотя бы фотографии? Вчера, когда Элен показывала ему дачу, он не обратил на это внимания, но завтра он обязательно спросит. Ах, какой он *cretino*, что не задержал ее на ночь! В таком тоненьком, как спица, теле – и такой низкий, томный, чувственный голос!..

Ага, вот и лестница!

Крепко держась за широкий деревянный поручень, Винсент стал осторожно спускаться вниз. На первом этаже в коридоре тоже было темно, только из последней – перед выходом наружу – двери сочилась в темноту узкая желтая полоска света.

Винсент шагнул на этот свет, и тут же из двери выскользнула громадная немецкая овчарка, остановилась в луче, выжидающе уставилась на Винсента своими желтыми глазами и тихо, предупредительно зарычала.

Винсент испуганно замер.

Впрочем, почти тут же во всем коридоре вспыхнул свет, голос за дверью громко сказал: «Нукер, на место!», и в двери появился солдат в сапогах, брюках-галифе и в гимнастерке с расстегнутым воротничком. Он взял собаку за ошейник, втолкнул в свою комнату и вопросительно повернулся к Винсенту:

– I may help you, sir? Tea? Food?⁷

И хотя эта безграмотная фраза была произнесена с дубовым акцентом, а от солдата пахло коньяком «Хеннесси» и парфюмом «Армани», Винсент сразу успокоился и даже развеселился – русский солдат на даче Сталина говорит по-английски! Это же сюр похлеще фильмов Антониони! Но ничего, сейчас и он удивит этого солдата!

– Сколько время? – почти чисто произнес он по-русски.

Солдат, нисколько не удивившись этому лингвистическому подвигу, взглянул на настенные часы и ответил по-русски:

– Шесть двадцать семь.

Винсент почувствовал, что исчерпал свой русский словарь, и перешел на английский:

– Evening or morning?⁸

– Evening. Вечер, – сказал солдат.

– I see... – Винсент подсчитал, что он проспал часов шесть, не больше. И вновь перешел на русский, который обошелся ему в тысячу миль – по полсотни миль за урок в римской «Берлиц-скул». – Я хотеть кушать. And чай!

7

– ...Когда в Египте воцарился фараон Рамзес Второй, он сказал народу своему: «Вот племя израильское размножается и может стать сильнее нас. Если случится у нас война с другими государствами, то израильтяне могут соединиться с нашими врагами и воевать против нас. Постараемся же, чтобы это племя не усилилось». И египетские надсмотрщики всякими жестокостями стали изнурять нас на работах до смерти. А затем был отдан приказ топить всех наших новорожденных мальчиков. Когда мы совершали новорожденным обряд обрезания, египтяне говорили: «Зачем вы это делаете? Ведь не пройдет и часа, и детей бросят в реку...»

Эмиграция как война, – она легко сближает даже совершенно разных и еще недавно совсем незнакомых людей. А с Кареном Гаспаряном мы впервые увиделись месяц назад в Москве, в Новодевичьем монастыре, где по четвергам и вторникам комиссия Министерства культуры определяет, какие предметы искусства можно вывезти из СССР, а какие нет. В очереди, состоявшей в основном из художников, испрашивавших разрешение на вывоз своих картин, я стоял с крошечной Асиной скрипкой-четвертушкой, а Карен – крупный, толстый молодой армянин – с огромной бочкообразной виолончелью. И по этой полноте виолончели и ее хозяина, по его яркому кавказскому галстуку, характерной армянской внешности и особому нервному беспокойству, выделявшему его даже в толпе нервных евреев, я еще тогда легко заметил его и запомнил. Второй раз мы пересеклись в Австрийском посольстве, где в числе других «счастливых», получивших разрешение на выезд из СССР, оформляли свои въездные австрийские визы. Но там, в Москве, стояние в общей очереди еще не повод для знакомства, зато здесь, в Вене, когда мы увидели друг друга в крохотном отельчике «Франценсгоф», куда спровадила меня из «Зум Туркена» мадам Беттина, мы бросились друг к другу как родные.

И вот мы уже сидим в моем номере-клетушке, варим куриный суп на крохотной, для варки кофе, лабораторной электроплитке, прошедшей со мной все киноэкспедиции от Ямала

⁷ Могу вам помогать? Чай? Еда? (англ.)

⁸ Вечер или утро? (англ.)

до Братска, а потом, как два бойца в одном окопе, едим этот суп по очереди – единственной ложкой и прямо из кастрюльки.

И я вижу, каким усилием воли Карен старается унять голодное дрожание руки и каким волевым взглядом он смотрит на московскую копченую колбасу, которую я режу перочинным ножом. Он замечает мое изумление и признается:

– Я это... я ем первый раз за неделю...

– Почему? Тебя обокрали?

– Нет, что ты!

– Тебе не дают пособие?

– Нет. Я, правда, ушел из вашего еврейского ХИАСа – я ведь уехал по фиктивному браку. Но меня приняли в IRC, это христианский фонд, и там пособие даже больше, чем ваше...

– Так в чем же дело?

Он посмотрел на колбасу, потом на хлеб, потом не удержался, сделал себе бутерброд, жадно надкусил и сказал:

– Ладно, тебе можно довериться. Я не имею права тратить ни шиллинга, я должен выручить свою виолончель.

– Подожди, ты же вывез виолончель, я видел ее в твоём номере.

– Да ты что! Это разве виолончель? Это советская кастрюля! Я, конечно, не Ростропович, но в Армении я довольно известный виолончелист, выступал с сольными концертами, и виолончель у меня итальянская, прошлого века, пять лет назад я отдал за нее сорок тысяч рублей!⁹ Но кто же мне разрешит вывезти ее из СССР! Я и пробовать не стал, купил эту кастрюлю. А свою отдал приятелю из Московского симфонического оркестра, у них скоро гастроли в ФРГ, в Гамбурге, и мне нужно найти тут музыканта, который отвезет туда эту кастрюлю и подменит на мою.

– То есть как?

– Ну как! Очень просто. – Карен сделал себе второй бутерброд. – Можно?

Я кивнул.

– Он приедет к концу их гастролей... – Карен надкусил второй бутерброд, прожевал его, запил супом и продолжил: – Поселится в гостинице, где будут жить советские музыканты, и после последнего концерта мой друг отдаст ему мою виолончель, а возьмет эту кастрюлю и поедет домой. Раньше этого сделать нельзя – все услышат, что он играет на другой виолончели.

– Ни хрена себе! Ты серьезно?

– За это я в Москве отдал своему другу тыщу рублей!

– А где ты найдешь австрийца, который ради тебя попрется в Гамбург?

– Не ради меня, а за деньги, которые я тут коплю. Пойми, кому я тут на фиг нужен без хорошего инструмента? Это тебе все равно, на какой машинке печатать. Но если ты дашь мою кастрюлю даже Ростроповичу, то и его никто слушать не будет... – Карен доел суп, колбасу и весь мой хлеб, блаженно откинулся на стуле и опять посмотрел на часы. – Ладно! – произнес он, расслабившись. – Скажу тебе больше: я уже нашел таких музыкантов. Правда, мы еще окончательно не договорились, они приедут за мной через двадцать минут. Ты хочешь послушать настоящий джаз?

Конечно, меня больше интересовал не джаз, а те рискованные музыканты, которые поедут в Гамбург за его виолончелью, и через двадцать минут мы с Кареном спустились вниз, в вестибюль нашего отеля. Там трехлетняя Анжела и пятилетняя Римма, дети еврейского «Левши» Гриши, который таки припаял на спичках рычажок буквы «ф» в моей пишмашинке, приручали нашего вальяжного портье Ганса. Обе эти девушки уже хозяйски расположились в его

⁹ В 1979 году по официальному курсу советский рубль был равен \$ 1.30 US.

конторке, Римма проводила инвентаризацию ключей, а Анжела, сидя у Ганса на коленях, пела ему с кокетливым придыханием:

– Гуд монинг ту-у-у ю-у-у-у!..

Ганс растроганно шмыгал носом и пробовал подыгрывать ей на расческе вместо губной гармошки, а она ерошила и гладила своими пальчиками его усы, и они оба были очень довольны.

– Только ради этой сцены стоило эмигрировать, – сказал я Карену и спросил у Анжелы: – Как зовут этого дядю?

– Его зовут дядя Портье.

– Нет, его зовут дядя Ганс.

– Дядя Портье! – сказала она уверенно и снова дернула его за усы.

Через час (за который Карен, нервничая, похудел на вес всего того, что он у меня съел) у дверей нашего отельчика остановился обшарпанный двухдверный «рено». За рулем этого автомобильного гнома сидела худая, как жердь, девица в вязаном жилете, с узким носатым лицом и бесцветными волосами, а рядом с ней был высокий, гладко зачесанный, с кисточкой на затылке, голубоглазый очкарик. Он вышел из машины, пожал нам руки, коротко представился: «Франц Когелман», откинул свое кресло, и мы с Кареном с трудом втиснулись на заднее сиденье. Девица резво рванула с места и тут же повернулась ко мне:

– German? French? English?

– English.

– Fine. My name is Ingrid¹⁰.

Очкарик, который назвался Францем, оказался очень дружелюбным, но молчаливым «мэном», зато Ингрид кипела энергией за двоих, гнала свою машину по узким венским улочкам как угорелая и при этом, поминутно оглядываясь через плечо, тут же затеяла со мной дискуссию о коммунизме, изумляясь, почему мы уехали from that great country, из такой замечательной страны, и вдрабадан ругая капитализм, как самое жуткое явление человеческой истории. А когда я, обозлившись, стал на своем «божественном» английском рассказывать ей о простых деталях нашего советского быта – паспортный режим, талоны на сахар и сосиски, очереди за молоком и обувью, – она, отрывая руки от руля, хваталась за голову, кричала в полный голос: «Oh, it's impossible!.. It's horrible!.. I can't believe it! It's like a fascism!»¹¹ – и переводила мой рассказ Францу на немецкий.

О себе она тут же сообщила, что она никто, part-time assistant, внештатный помреж в каком-то театрике в Зальцбурге и his girlfriend, его подруга, зато Франц – великий джазмен, очень известный в Европе, он создал «Венский ансамбль», дает концерты в Австрии и ФРГ и записывает свою музыку на магнитофонные кассеты, но это только серьезный джаз, «ты увидишь!». Он вообще семь лет был ночным портье, пока завоевал известность, однако и теперь делать деньги на джазе не хочет, принципиально не играет коммерческий джаз, не дает больше двух концертов в месяц, и потому они живут в Зальцбурге довольно бедно и в основном на банковские кредиты. Я не понял, как банк дает им кредиты, если они оба безработные, и рассказал, что когда я, автор семи кинофильмов, пришел в бухгалтерию ВААП и попросил двести рублей в кредит под будущий гонорар, главный бухгалтер только беспомощно развел руками.

Карен, который, как я теперь сообразил, взял меня с собой в качестве переводчика, все просил меня выяснить, сколько же они возьмут с него за поездку в Зальцбург, но я чувствовал, что спрашивать об этом еще не время...

Тут мы остановились где-то за городом, чуть ли не на пустыре, перед неказистым каменным домом какого-то известного, по словам Ингрид, художника. Внутри дома оказалась боль-

¹⁰ – Немецкий? Французский? Английский? – Английский. – Хорошо. Меня зовут Ингрид (англ.).

¹¹ Ой, это невымыслимо!.. Это ужасно!.. Я не могу поверить! Это как при фашистах! (англ.)

шая студия – во всяком случае, по моим советским меркам. Две просторные смежные комнаты с высоченными потолками были оформлены так, как в Москве оформляют свои студии модные художники типа Брусиловского – немного антиквариата, на стенах экстравагантные картины и чучела зверей, в углу мольберт, холсты, повернутые лицом к стене, ящики с красками, а посреди комнаты – большой литографский станок. И на нем – кухонная доска с огромным куском ветчины, нож, горчица и буханка хлеба. Самообслуживание.

Когда мы приехали, весь ансамбль был практически в сборе. Нас с Кареном представили музыкантам и посадили у стены к слушателям, коих было ровно три девицы. Между тем, как я вскоре понял, это был действительно первоклассный джазовый состав – Франц Когелман, Карл Вильгельм Крбавак, Питер Альберт Жакели и еще семь известных в джазовом мире музыкантов, собравшихся на session по случаю того, что кто-то из них оказался в Вене проездом из Парижа, кто-то – из Варшавы, а Франц – из Зальцбурга. То есть они пришли сюда поиграть сами для себя и привели с собой всего трех слушательниц – Ингрид, которая нас привезла, тощую двадцатилетнюю польку Эльжбету и жгучую, как испанка, черноглазую брюнетку без имени, на которую я тут же положил глаз. Нас с Кареном усадили рядом с этими девушками за совершенно замечательный стол, вырезанный в виде гриба из одного куска красного дерева и отполированный до матово-яхонтового свечения. На этом столе была батарея бутылок – пиво, вино; но и стол, и мы, слушатели, занимали только один угол студии, а все остальное пространство было в распоряжении музыкантов с их немыслимым количеством инструментов – ударник со своими гигантскими барабанами, контрабасист, два тромбониста, саксофонист, электропианист, два электрогитариста с динамиками и еще бог знает кто такой, игравший на всем – от свирели до горохового стручка.

Впрочем, когда мы приехали, они еще не играли, а только разыгрывались. Худенький, как кузнечик, контрабасист, обнимал свой контрабас, как сзади, со спины, обнимают толстозадую девку, наклонялся над ней и – видимо, для разминки – шарил руками на ее животе, словно искал, где у нее расстегивается. А нащупав это заветное место, дотрагивался до него и тут же трусливо убегал пальцами вверх по грифу и щекотал уже там.

Зато ударник лупил по своим тарелкам и барабанам в полную силу – упражнял руки.

Еще кто-то стучал на ксилофоне, а пианист извлекал из чрева электрооргана такие дикие диссонансные звуки, что все музыканты принимались хохотать.

И все эти тамтамы, стуки, всхлипы, взревы и ржание их инструментов были уже так далеко за пределами звуковой шкалы, что устраивать такие session можно было действительно только на пустыре. При этом все они, музыканты, пили вино и пиво, продували мундштуки, разговаривали, ели бутерброды, передвигались, и толстый черноусый тридцатилетний тромбонист, приехавший вчера из Парижа, взасос целовался с худенькой полькой Эльжбетой.

Только Франц, приехавший с нами, хранил невозмутимое и тихое спокойствие. Его труба еще лежала в футляре, словно он и не собирался играть.

Я наблюдал за ними за всеми, они все были мне интересны – и этот сорокалетний, «старый», как сказала о нем Эльжбета, саксофонист, который петушком, задрав одно плечико, разгуливал по комнате, выдувая весь свой дух в мундштук саксофона, и этот жирный, с пузом и усами навыпуск парижский тромбонист, отлипающий от своего тромбона только для того, чтобы вывести в соседнюю комнату худющую пигалицу Эльжбету и через пять минут с невозмутимым видом вернуться назад (что они успевали там за эти минуты?). Кося на нее глазами, он уходил в дальний угол комнаты, накачивал там дыханием свой зычный тромбон, а Эльжбета, сидя подле меня, тут же принималась щебетать со мной на ломаном и пшикающем русском («Ты слышалыш новины? Арабы хтели вжахнуть ваше посольство, но жида их всех поштреляли!»).

Тут ее тромбонист ревниво возвращался, наклонялся к ней, щекотал усами ее шею и совал свою ладонь ей под зад, а она нежно прижимала эту ладонь своим тощим задиком к

скамье и одновременно успевала прижаться щекой к его усам. По-моему, своим флиртом со мной она его просто дразнила и возбуждала.

Но самым интересным из всех музыкантов был сидевший подле меня Карен. Он не играл, не двигался, не дул ни в какие тромбоны. Но его лицо покраснелось, губы открылись, глаза, вцепившиеся взглядом в чужой контрабас, выкатились, как у лягушки, а руки...

Глядя на них, я вспомнил Салехард, куда в марте 67-го года моя мосфильмовская киногруппа приехала на съемки моего первого фильма. Утром мы завтракали в портовом ресторане «Волна», и вдруг за моей спиной раздался чудовищный крик, и даже не крик, а рев: «Пло-о-от!» Я замер, остолбенев, – это была моя школьная кличка, и реветь ее таким слогом мог только один человек – мой школьный друг Славка Наумов, музыкальный вундеркинд, с которым мы знали наизусть «Убийство на улице Данте», «Чайки умирают в гавани» и все остальные лучшие фильмы пятидесятых годов, – он знал наизусть всю музыку этих фильмов, а я – все диалоги. Но вместо того чтобы после музыкальной десятилетки, которую Славка окончил на «отлично», пойти в консерваторию, он по моде того времени поперся на геологический факультет Бакинского нефтяного института, и наши дороги разошлись, но теперь...

Теперь в Салехарде начальник геологоразведочной партии Вячеслав Наумов – бородатый гигант в унтах и меховом комбинезоне – уселся за наш стол и сказал мне, что, услышав по местному радио о съемках моего фильма, прилетел сюда из тундры на вертолете. Тут к нам подошла официантка и, обняв нас обоих за плечи, интимно произнесла:

– Ребята, знаете, я в Заполярье уже одиннадцать лет. И как вы понимаете, в моей жизни было много объятий. Но чтобы **так** обнимались, я еще не видела...

После завтрака я повел Славку по дощатым тротуарам Салехарда в местную школу, взял у директора школы ключ от зала, где стояло пианино, усадил там Славку за этот инструмент и приказал:

– Играй!

Он отказывался, сопротивлялся, вскакивал со стула, но я сказал, что, если он не сыграет мне музыку из «Чайки умирают в гавани», он мне не друг. И он положил руки на клавиши. О, нужно было видеть эти руки геолога, месяцами живущего в заполярной тундре! Мозолистые, огрубевшие, обмороженные, распухшие от комариных укусов и вьезшейся в них сольерки, они были похожи на клешни гигантских вареных раков. И этими клешнями он начал играть. Я видел и даже чувствовал боль, которая пронизывала эти пальцы, я видел, как они шевелились, медленно ползая по клавишам и с натугой, с болью убыстряя свой принужденный бег...

Руки Карена Гаспаряна напомнили мне Славкины руки – большие, с толстыми пальцами виолончелиста, они непроизвольно шевелились вслед за пальцами кузнечика-контрабасиста – нет, я вру! не вслед! а сами по себе! – они жили самостоятельно и играли по-своему...

И конечно, меня ужасно интриговало, кто же из музыкантов владеет этой знойной Кармен, молча сидевшей в углу, как соблазнительное пирожное в освещенной неонов вечерней витрине. (Хотя для таких нищих псов, как я в этот первый венский вечер, лучше облизнуться и тут же идти дальше, не расходуя слюну, а сохранив безразличный байроновский вид.) Впрочем, ни один из музыкантов не уделял этой Кармен видимых знаков внимания, и она, казалось, тоже не выделяла никого из них, а сидела недвижимо, как ярко раскрашенная дымковская игрушка.

Но вот музыканты, подчиняясь непонятно какому знаку, вдруг затихли один за другим, расположились по какому-то порядку, тоже ведомому им одним, и по кивку петушка-саксофониста негромко заиграли все вместе. Это, как я понял, было вступление, потому что только теперь Франц открыл футляр, достал из него свою трубу, продул не спеша мундштук, насадил его на трубу и... Без всякой подготовки, одним коротким движением Франц поднес инструмент к губам, вступил в мелодию и уверенно, как истинный лидер, тут же вырвался вперед и повел за собой весь оркестр, только толстый парижский тромбонист погнался за ним, не отступая,

и вот они уже вдвоем повели этот музыкальный марафон, то уступая друг другу лидерство и давая возможность посолировать, то вновь состязаясь в скорости и высоте своего полета.

Боже мой, что случилось с руками Гаспаряна! Они затрепетали, как птичьи крылья, они вдруг обрели невесомость и легкость перстов Майи Плисецкой, они вытягивались вдоль незримого грифа и воображаемых струн, ласкали их, щипали, дергали...

В два часа ночи, когда я уже совершенно ошалел от этих тамтамов, хрипящего и скулящего саксофона, визжащих тромбонов, трепещущей флейты и жаворонкозвучной трубы Франца, худосочная Эльжбета наклонилась ко мне и сказала:

– Мой телефон 57-08-184, ты запиши, а то забудешь.

Я еще изумленно хлопал ресницами, когда парижский тромбонист подхватил ее за цыплячью задницу и унес, а Карен сказал мне:

– Ты помнишь, что нужно спросить у Франца?

Но спрашивать не пришлось, по дороге в гостиницу Ингрид сказала:

– Переведи своему другу: во время концерта Франц видел его руки. Мы поедем в Гамбург without his money, без всяких денег.

8

– Товарищ Андропов болен, простуда и почки, врачи прописали постельный режим дней на десять. Но мы не хотим задерживать вас так надолго, поэтому он поручил мне обсудить с вами всю операцию. Я его личный помощник, моя фамилия Иванов, зовут Петром Ивановичем, а вы можете звать меня просто Питер...

«Просто Питер» был высоким сорокалетним крепышом с открытым лицом, глубокой залысиной, по-офицерски прямой спиной и лукавыми серыми глазами. Глядя прямо в эти глаза, Винсент мысленно передал ему, что не поверил ни одному его слову, включая фамилию и имя, которые тот себе только что придумал. Впрочем, тут же подумал Винсент, и русских можно понять: если операция провалится и Винсент попадет на допросы в СИСДЕ, секретную службу итальянского министерства внутренних дел, или, что еще вероятнее, в руки генерала Джузеппе Сантовито, начальника СИСМИ, то есть контрразведки, то где гарантии, что Винсент не расколется и что имя Андропова, как главного организатора столь возмутительной акции, не попадет на первые страницы всех газет? А так – никакого Андропова, а некто «просто Питер» Иванов, этих Ивановых в России, наверное, как Винсентов в Италии.

Винсент опустил глаза и сделал вид, что обдумывает ситуацию. Нужно показать этим русским (и особенно этой переводчице), что и он себе цену знает. В конце концов, сейчас они целиком зависят от него. И если они пригласили его в Москву и поселили здесь, на сталинской даче, и если помощник самого Андропова прикатил сюда с переводчицей (мадонна, что за унасула обозначилась в юбке, когда эта Элен нагнулась помешать поленья в камине!), то они уже на крючке, они уже начали эту операцию.

– Карашо, – решительно сказал он по-русски и тут же перешел на итальянский: – Раз вы привезли меня сюда, то вы уже начали операцию, так я понимаю. Правильно?

Елена перевела почти синхронно, и Иванов кивнул, его глаза сразу потеряли блеск простого сельского хитрована и стали серьезны и внимательны, как у хирурга перед сложной операцией.

– В таком случае, – продолжал Винсент, – мы в первую очередь должны обсудить проблему секретности. До сегодняшнего дня я считал, что синьор Разлогоф выполнил мое условие и об операции знают только три человека: я, синьор Разлогоф и синьор комрад Андропов. Сегодня это число увеличилось почти вдвое. А завтра?

Елена бесстрастно перевела. Иванов ответил:

– Я понимаю ваши опасения. Давайте обсудим эту проблему. Но вы должны учесть: даже если бы товарищ Андропов и приехал сюда, у операции все равно был бы куратор, а у вас переводчик. Елене мы полностью доверяем, это наша сотрудница. И мне товарищ Андропов тоже пока доверяет... – Иванов чуть усмехнулся, но тут же и убрал улыбку. – Пожалуйста, скажите, что вам нужно для операции, и мы с вами вместе обсудим круг посвященных лиц.

– Что мне нужно? – удивленно переспросил Винсент. – А разве синьор Разлогоф не доложил комраду Андропову?

Действительно, ведь Разлогоф сам сказал Винсенту в Риме, что его идея настолько рискованна – он не станет сообщать о ней начальству никакими самыми секретными шифрами, а слетает в Москву и лично, тет-а-тет доложит Андропову.

– Конечно, доложил, – успокоил Винсента Иванов. – А потом по приказу товарища Андропова Разлогов повторил ваши условия мне, потому что мне курировать эту операцию. Но вы же понимаете, я все равно должен выслушать план операции от вас и – со всеми подробностями!

Что ж, подумал Винсент, это разумно. Он неловко отпил чай из диковинного стакана в тяжелом серебряном подстаканнике и сказал:

– Bene! Цель вы знаете, я ее повторять не буду. Тем более при даме. Обсудим средства. Я должен увидеть всех каннибалов, которые находятся в ваших тюрьмах и психбольницах, и выбрать гипнотабельный субъект. Этому субъекту я полностью сотру память о его биографии – на нашем языке это называется формированием амнезии, а затем методом суггесто-лингвистического программирования сформирую новую биографию, национальность и прочие мелочи. А его психоз и инстинкты привяжу к определенному коду, которым воспользуюсь в нужный момент. Надеюсь, синьор Разлогоф привез вам для издания мою книгу «Гипноз и методы программирования информационного человека»?

– Да, – ответил Иванов, – Елена перевела мне эту книгу, и издательство уже готовит ее к выпуску.

– Как? – Винсент в изумлении уставился на эту хрупкую переводчицу. – Вы перевели мою книгу?

– Конечно, – ответила она. – Больше того, нам уже ее отрецензировали в Институте Сербского. Это наш ведущий Институт судебной психиатрии.

– Мама миа! – восхитился Винсент. – И что же сказали русские психиатры?

– Вам нужны комплименты или критика?

– И то и другое!

– Результатом их комплиментов можете считать то, что вы здесь и что сам помощник председателя КГБ сидит перед вами. А критика... Если хотите, я вам потом переведу всю рецензию, а сейчас не будем тратить на это время. Товарищ Иванов не любит его терять.

Perbacco! Черт побери, подумал Винсент, у этой Елены не только прекрасная *una cula*, но и мозги! И вот почему она еще в аэропорту смотрела на меня такими глазами – она прочла и перевела на русский всю мою книгу! Все четыреста тридцать страниц со сложнейшими психиатрическими терминами! Ничего себе *ragazze*¹² в КГБ! А он-то думал, как просто и сладостно он переломит ее тонкое тело на сталинской постели! Но если у них такие сотрудницы, то...

– Винсент, вы слышите?

– Что?

– Комрад Иванов спрашивает, когда вы хотите видеть наших каннибалов.

¹² девочки (*ит.*).

– ...Моисей же пас овец тестя своего, жреца Мадиямского. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды терновника, и видел он: вот терновник горит огнем, а не сгорает. И сказал Моисей: «Пойду посмотрю на это явление, отчего же терновник не сгорает?» И воззвал к нему Бог из среды терновника и сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Увидел Я бедствие народа Моего, который в Египте, и услышал вопль его от притеснителей его, так что знаю его страдания...»

...А завтра мы приходим в ХИАС. Это в центре Вены, на площади Брамса, дом номер 3, второй этаж.

Я уже отдохнул в отеле, искупался под умывальником (поскольку душевая в отеле отдельно и стоит аж сорок шиллингов!), побрился, и в прекрасном венском метро, где мелодично звенит какой-то звонок, предупреждая, что двери закрываются, где кондиционер обволакивает вас свежим воздухом, где чистые холеные австрийцы стоят друг от друга не ближе чем в полуметре, чтоб у каждого была своя зона независимости, – в этом метро я проехал из своего отеля «Франценсгоф» в центр города, а потом еще шел, гуляя, по просторным и уютным венским улицам, которые, на наш, советский, взгляд, можно довести до этой сияющей чистоты, только если мыть и дома, и тротуары, и мостовые дорогом ароматным шампунем.

Я шел, вдыхая в себя воздух свободы, распрямляя плечи и спину на манер этих австрийцев, и уже ощущал себя почти иностранцем. Все вокруг было просторно и многоцветно, красиво и доброжелательно – совсем так, как и должно быть в человеческой жизни. Казалось, я просто вернулся домой после сорокалетней – с момента рождения – командировки в другой, неразумный мир...

И вот – за углом – эта крохотная и аккуратная площадь Брамса. Мама моя! Мне даже не нужно искать номер дома – я уже издали вижу эту черную и серую советскую толпу у подъезда! А что ты хотел, тут же говорю я себе, чтобы эти люди за один день стали западными людьми? Я пробираюсь через толпу, вновь опустив свои еврейские плечи, и по каменной лестнице поднимаюсь на второй этаж. Я уже не удивляюсь – тут, на втором этаже, где разместились ХИАС и «Джойнт», все выглядит как вчера в «Зум Туркене» и даже похлеще.

Маленький узкий коридор и крохотный холл забиты людьми, как в фильмах о революции, в эпизодах посадки буржуев на последний пароход из Одессы в двадцатом году. Тесно, люди стоят спина в спину и затылок в затылок. Где уж тут австрийские стандарты «зон независимости»! – это как очередь за хлебом в 1947-м. Дети ревут от духоты и стервозности, и люди, одетые, как и я, в новые костюмы, купленные перед выездом, чтобы «выглядеть как люди», но не ставшие от этого иностранцами, толпятся у дверей «Сохнута», ХИАСа и «Джойнта» и осаживают рвущихся без очереди:

– Тише! Вы уже не в Одессе!

– Мама, идите сюда, уже наша очередь! Стойте тут, наконец!

– Ой, Вадим Ефимович! Неужели вас выпустили? Поздравляю! Леня, познакомься, это режиссер Плоткин, он снимал кино в нашем институте. Ник, дай дяде ручку. Да не эту, правую!..

– Товарищи, я вам скажу, что такого безобразия нет даже в ОВИРе – чтобы целый день держать людей в такой духоте, да еще с детьми!

– А что вы хотите, когда КГБ вдруг сразу выбросил такую кучу народу?

– Слушайте, в пятой комнате «Джойнта» уже деньги дают, вы получили?

– Дайте дорогу! Пропустите господина Леона! Господин Леон, вы меня извините, я правильно заполнила этот бланк?

– Господин Леон, вот мое открепление от «Сохнута», я уже могу идти за деньгами в «Джойнт»?..

Леон – старый и маленький портье – протискивается в этой толпе с подносом, уставленным чашками с венским кофе для сотрудников ХИАСа и «Джойнта», и только просит:

– Господа, не толкайтесь! Тише, господа! Боже, я донесу этот кофе или не донесу?..

Я стою в этой толчее, даже у стены нет места прислониться плечом, орут, шныряют и дерутся в ногах чьи-то дети, и поток людей пихает меня так, как могут пихаться только в одесских трамваях, и час за часом в ушах этот гвалт, но я чувствую, как лицо мое не может удержаться от блаженной улыбки. Я счастлив, что это мой народ – крикливый и хитрый, ловкий и талантливый, сильный и убогий, несчастный и остроумный, богатый и бедный, жадный и щедрый – вывозит из советского рая своих детей и стариков. Детей и стариков. Я смотрю на их лица – Господи, два дня свободы уже меняют их черты! Еще вчера в Москве, в ОВИРе и в Австрийском посольстве, это была нищая, узкоплечая, с печатью изгойства на лице и с затаенным вековечным страхом в глазах нация, еще вчера они робко стояли в дверях консульств, боялись милиции и не верили – до последней минуты не верили, что их выпустят, выпустят, а не убьют, – а сегодня им уже подавай Канаду, Австралию, Штаты!

Я смотрю на их дерзкие, даже наглые лица, я смотрю на лица их детей – прекрасных детей, и в глаза их стариков и старух – прекрасные библейские глаза, господа! – и я говорю себе, что это мой народ, наконец! Как будто выпустили из темных конюшен застоявшихся коней, как будто спустили с ремней борзых, как будто выпорхнула из голубятни стая голубей. Лететь, ехать, двигаться – наконец-то моему народу снова дали эту великую возможность колесить по миру! И хмелеет сердце, и бьют копыта – поехали! Куда – не важно, важно – откуда, зачем – не важно, важно – от чего, катит поток, и мы в нем, и в этом – счастье! Я стою и думаю: куда же вынесет меня этот поток и во что превратит? И даст ли Бог мне силу снять о нем фильм? Потому что не снять – преступление, потому что все, что происходит сейчас с моим народом, – История, еще один – какой по счету? – Исход. Но кто ведет сегодня мой народ? Где наш нынешний Моисей? И не потому ли, что его нет, растекается этот поток на два рукава – узкий в Израиль и широкий в Америку, Австралию, Канаду, даже в Южную Африку... Как сказал бы господин Гоголь, о, жидовские кони, о, еврейские души, куда вы мчитесь, дайте ответ!

И дают ответ еврейские души – заполняют анкеты, куда бы им хотелось поехать. Ну и как вы думаете куда?

В золотой штат, в Калифорнию!

Бедная богатая Калифорния, у всех евреев, оказывается, там есть прямые родственники!

– Слушайте, я знаю, что в Калифорнию пускают только по прямому родству. И поэтому я вам говорю: моя бабушка вышла замуж за моголевского раввина, а его дедушка уехал в Штаты еще до революции 1905 года и там женился второй раз. Теперь от этого брака у меня восемнадцать кузенов, и все они живут в Калифорнии, только один в Австралии. Не верите? Но вы же можете проверить! Как вы их найдете? Откуда я знаю как? Пустите меня в Калифорнию, я их вам сам найду!

– Слушайте, этот сохнутовец в первой комнате, такой, в свитерочке, дал мне израильскую сигарету и так чисто говорит по-русски – даже приятно. Он мне говорит: «Вы откуда? Из Харькова? Если вы врач из Харькова, то вы, наверно, знаете Борщевского, он тоже харьковский врач, и знаете, как он устроился в Израиле? У него свой дом и своя клиника!» Вы поняли? У них на каждый город есть такой показательный список, чтобы делать такие примеры.

– А мне он говорит: «Вы хотите ехать в Штаты, а вы знаете, что там только пять процентов советских врачей сдают экзамены и получают докторский лиценс?¹³» Это он мне говорит, ты понял? А если я, кандидат наук, не стану там врачом, а буду только фельдшером – что мне, плохо будет?

– А они там, в «Сохнутах», сильно пытаются? Жмут ехать в Израиль? Чего они вас так долго держали?

– Слушайте, если они не могут повесить здесь карту Израиля и несколько фотографий израильской жизни, так или у них там нет жизни, или мы им до лампочки, я так думаю!

– А один киевлянин им так и сказал: «Идите вы к такой-то матери с вашей войной и с арабами! Дайте мне открепление от Израиля и прикрепление к ХИАСу, а то я поеду обратно!»

– Ох, как он их напугал!

– Слушайте, вы знаете, как там с нами разговаривают? Мой папа так говорил со мной, когда я собрался идти на Крещатик к проститутке попробовать, что это такое. Он знал, что я все равно пойду, но целый час пугал меня сифилисом и триппером...

– Подождите, что вы мне мозги пудрите! Зачем проходить эмиграцию в Вене? Что я – сумасшедший? Я хочу посмотреть Италию, как все люди, и не морочьте мне голову! Вот народ! Каждый хочет быть умнее другого! Нет, я уже посмотрел Австрию, с меня хватит! И довезем мы до Рима бабушку, ничего! Вчера в госпитале – вы видели, какой тут госпиталь, я не знаю, есть ли у них в Кремле такой госпиталь! – так они тут подняли дедушку на ноги, и он уже ходит ногами. Здесь он уже ходит, а там он восемь лет не ходил ногами!

– А вы знаете, что было вчера в Вене? Как? Вы ничего не знаете? Арабы напали на Израильское посольство, там ужас что творилось!

– И что?

– Как что? Наши их всех постреляли!

– Нет, вы подумайте, что написано в этих документах! Я должна буду выплатить все расходы, связанные с моей эмиграцией, включая транспорт, жилье, питание, медицинскую помощь и даже оформление документов. То есть их зарплата тоже за мой счет! Селят нас черт-те как, а получают за это черт-те сколько! Нет, я еще пошлю эту бумагу в Союз, чтобы люди видели, на что они идут!

Так я стоял в коридоре венского ХИАСа, слыша вокруг себя гомон очередей у каждой двери, дыша запахами одесской парфюмерии и слушая пространные монологи людей, которые – наконец! – могут высказать все, что хотят. Я слушал их и вдруг... – через чьи-то плечи, руки, головы я вижу забытое и все же родное, до озноба родное лицо. Это же... Инна? Инна?! Здесь?! В Вене? Не может быть!..

А она разговаривает с кем-то, кто перекрывает ее от меня своим могучим плечом и затылком, потом наклоняется к какому-то ребенку, и я издали все не могу решить: это она или не она? Совсем другого цвета волосы и это дурацкое пальто! И разве она еврейка?

Но вдруг она единственно своим, неповторимым движением головы отбрасывает волосы за спину, и я уже **знаю**, знаю, что это она, Инна! И теперь я просто жду, я стою и жду нашей встречи. И наконец ее взгляд, проходя по лицам толпы, прошел и по мне, миновал меня, миновал и вернулся. Не испуг, не радость, не изумление, а просто взгляд. Но я физически почувствовал, как этот взгляд вобрал меня всего, опознал и тут же одним внутренним толчком бросил ее ко мне через весь этот табор и круговорот людей.

– Ты?

Она целовала меня, и я целовал ее, и мне показалось, что разом стало тихо вокруг нас, и все смотрели только на нас, и в этой тишине все по нашим объятиям увидели и поняли, конечно, то, что было между нами много лет назад.

¹³ разрешение на практику.

Эта же тишина привела нас в себя, и я медленно провел рукой по ее щеке, но и она уже пришла в себя, чуть отстранилась и показала мне на крупного, под два метра ростом, мужчину, удивленно наблюдавшего за нами из-за стола, за которым он заполнял анкеты для заказа израильских вызовов родственникам в СССР.

– Познакомьтесь, – сказала она. – Это мой муж. А это моя дочь, ей три года. Юля, не дергай меня...

А глаза ее, глаза, в которых было всегда написано все, что она думает, добавили мне в упор: «Идиот, это мог быть твой ребенок!»...

10

– «Акт № 1769. Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза на испытуемого Богула Федора Егоровича, 1950 года рождения, обвиняемого по статьям 103, 102 УК РСФСР, а также статье 126 и статье 131 – преднамеренное убийство 18 человек с отягчающими обстоятельствами. Из материалов уголовного дела, из медицинской документации, а также со слов испытуемого известно следующее. Отец злоупотреблял алкоголем. В семье учинял ссоры, дебоши, «гонял жену и детей», рано оставил семью. Мать замкнутая, необщительная, внешне тихая, жестокая и решительная, держала детей в строгости. Испытуемый рос ослабленным ребенком, страдал энурезом до девяти лет. Воспитывался в условиях гиперопеки. Обучение в школе начал своевременно, учился удовлетворительно, в четвертом классе завел дома муравьев, чтобы наблюдать за ними, было интересно, можно ли их откормить. Увлекался радиотехникой, любил читать историческую, фантастическую литературу, иногда сочинял стихи, читал труды Ленина. Считал, что весь мир подключен к нему и он может узнавать мысли людей. При этом сравнивает мозг с жидкокристаллическим индикатором, который можно подключить к чужой голове. Рассказывает, что подключался к телефонным сетям, чтобы влиять на мысли людей... В 1964 году, после конфликта с подростками, пытался вскрыть себе вены. Близких друзей не имел. Последний раз плакал в десятилетнем возрасте, когда умер его пес – «я его на кладбище похоронил». В 1965 году за кражу был поставлен на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Дома грубил матери, покрикивал на нее. Вел замкнутый образ жизни, общался с беспризорными подростками, с бомжами, часто уходил из дома, ночевал на вокзале, в подвалах, на чердаках, где смотрел «за протекающим там процессом» – наблюдал за жизнью людей и думал: какое право имеют взрослые плодить бродяг, доводить их до такой жизни? Себя по отношению к обществу считал потерпевшим, непонятым. Был обеспокоен тем, что у него «гниет половой член», ходил к врачам, требовал операцию на половом члене, а врачи «по халатности» его не лечили. Не смущался, что мать работала на нескольких работах, кормила его, давала деньги, считал это в порядке вещей. Иногда подрабатывал ремонтом радиотехники. Имел случайные связи с женщинами, но не влюблялся. В 20 лет познакомился с Р., но говорит о ее убийстве неохотно. Считает себя невиновным, так как, по его словам, она ему нравилась, он ее любил, с ней спал, а она гуляла, приходила и уходила, когда хотела. По его словам, «сама и пострадала из-за этого». Так же неохотно, раздраженно, с вызовом говорит об инкриминируемых ему убийствах еще 17 подростков: «Да, убил, съесть хотел. Если я не имею

права держать в камере мыло, то имею право и это забыть, не хочу ничего вспоминать. Всех убил и всех съел!» Эмоциональные реакции испытуемого монотонны, маловыразительны. Речевому контакту малодоступен, на вопросы отвечает односложно...»

Елена подняла голову от папки с документами и взглянула на Винсента. С закрытыми глазами слушая ее перевод акта психиатрической экспертизы, он, откинувшись к спинке старого кожаного дивана, сидел в дубленке, пыжиковой шапке и фетровых бурках, которые они купили ему сегодня в «Березке». Но и в этой одежде ему было холодно, он прятал руки в рукава и поджимал ноги. Утром в котельной Института Сербского прорвало трубы, и отопление тут не работало, а два электрических калорифера, которые здесь нашли ради столь экзотического гостя, обогревали практически только сами себя. Конечно, можно было переждать, пока трубы починят, или, привезя в институт официальное письмо за подписью кого-либо из замов Андропова, получить разрешение на вынос этих документов, но Винсент ждать отказался. «Будем работать здесь. У нас в Италии вообще не топят!» – бодро сказал он утром, когда они по какой-то обшарпанной лестнице поднялись на четвертый этаж бокового флигеля института в кабинет заведующего лабораторией судебной психиатрической экспертизы.

Елена сама первый раз была в этом институте, столь известном по вражеским радиоголосам. «Голос Америки», «Свобода» и Би-би-си, а также «Радио Италии» и «Радио “Ватикан”», которые она по долгу службы постоянно слушала и переводила для руководства, почти ежедневно твердили о том, что здесь совершенно здоровым людям только за то, что они критикуют власть, ставят диагноз «шизофрения» и принудительно разрушают психику аминазином и другими психотропными средствами. Но ничего похожего на это она тут не увидела – в центре Москвы, в одном из переулков рядом с Кропоткинской улицей, за высоким бетонным забором с почти неприметной колючкой поверху находилось обычное закрытое учреждение с большим пятиэтажным корпусом психиатрической клиники, с трехэтажным административным зданием возле проходной и несколькими служебными флигелями и пристройками. Конечно, проходная тут тюремного типа, с клацающими засовами на дверях контрольно-пропускного бокса, а на окнах клиники решетки, и клиника эта обнесена еще одной, внутренней оградой, но что вы хотите, если здесь приходится иметь дело с такими вот чудовищами!

– «Акт № 1770. Жигало Леонид Викторович, 1938 года рождения. До 13-летнего возраста страдал ночным недержанием мочи, по характеру был робким, замкнутым, стеснительным, близких друзей среди сверстников не имел, отличался мечтательностью и склонностью к фантазированию. Часто воображал, что у него есть старший брат, который может его защитить в случае обид. Потом с ужасом представлял себе, что брата съели во время голода, воображал окровавленные куски мяса, лужи крови, части трупов, которые видел во время войны. По словам испытуемого, его детство проходило в тяжелых условиях, семья голодала. В селе, где он жил, наблюдались случаи каннибализма во время голода в 1933 году. Однако, по данным загса, никаких документов о брате нет...

Школу начал посещать своевременно, учителя характеризуют испытуемого как талантливого. Он все схватывал на лету, отличался феноменальной памятью. Здоровье, по словам односельчан, было отличное, нервы в порядке. Никогда не психовал, в свободное время помогал родным по хозяйству. В возрасте 12–13 лет увлекался тем, что составлял последовательный ряд чисел, хотел добраться до последнего числа, исписал толстую тетрадь. В 7–8 классах в учебнике географии над каждой страной вписывал имя генсека компартии этой страны, так как считал, что вскоре

коммунизм победит во всем мире и они станут правителями этих стран. Много времени уделял чтению, больше всего нравились книги о партизанах. Боготворил «Молодую гвардию», после прочтения которой представлял, как он берет одинокого «языка», ведет его в лес и выполняет команду командира партизанского отряда – связывает и бьет пленного. В более старшем возрасте читал труды Маркса, Энгельса, Ленина. В школе с девочками не дружил, сторонился их, влечения к ним не испытывал, считал, что это позорно. Написал клятву о том, что никогда в жизни не дотронется до чьих-либо половых органов, кроме своей жены. Вместе с тем в возрасте 15 лет из любопытства совершил акт мастурбации, который происходил на фоне расслабленной эрекции. Когда учился в десятом классе, влюбился в девочку-сверстницу, мечтал общаться с ней. Как-то вечером из интереса тайно наблюдал за ней через окно. Когда она стала раздеваться, произошло семяизвержение. В 18-летнем возрасте стал часто задумываться о своей неполноценности и переживал, что он не такой, как другие, порой возникали мысли о самоубийстве. Вместе с тем продолжал много учиться, поступил на заочное отделение вуза, оценивал это поступление как реванш за свою неудачную жизнь. Активно боролся с несправедливостью, писал жалобы, если сталкивался с какими-либо недостатками. Служил в армии. Был кандидатом в члены КПСС. С 1960 по 1961 год регулярно встречался с Н. На протяжении полутора месяцев при встречах с ней всегда был ласков, добр, нежен, насилия не применял. Дважды, когда пытался совершить с ней половой акт, потерпел неудачу. При следующей попытке, когда она стала вырываться от него, при отсутствии эрекции произошло семяизвержение. Переживал из-за своей неудачи, испытывал тоску, возникали мысли о самоубийстве, так как считал, что девушка расскажет всем, что он импотент. В дальнейшем, чтобы избежать «позора», решил уехать из села.

В 1965 году стал преподавателем русского языка и литературы. С будущей женой познакомился с помощью родственников. В семье, по его словам, ему приходилось подчиняться ей во всем. Жена характеризует его замкнутым и немногословным. Он любил детей, много играл с ними. Хотел иметь много детей. Но с первых дней совместной жизни она отмечала у него половую слабость, он не мог завершить половой акт без ее помощи. При этом садистских наклонностей она у него не отмечала.

Между тем, согласно материалам уголовного дела, Жигало обвиняется в том, что в период с 1968 по 1977 год совершил 55 убийств девочек, мальчиков и женщин. По его словам, будучи школьным учителем, он порой оказывался в интимной обстановке с детьми, и тогда им овладевала «какая-то необузданная страсть», которую он с трудом подавлял. Неоднократно обращался за медицинской помощью к сексопатологу. Заявил, что стал убийцей потому, что над ним издевались учащиеся, прозвали Жуком. Это обижало его. Знал, что многие из учеников отличались половой распущенностью, вступали в половые связи с одноклассниками и воспитателями. Вместе с тем однажды летом, когда он был воспитателем в пионерском лагере и стал выгонять из реки девочку, которая зашла далеко в воду, и при этом несколько раз дотронулся до ее ягодиц, она стала кричать, протестовать, отбиваться. У него возникло желание, чтобы она закричала еще громче, он почувствовал возбуждение, и внезапно произошло семяизвержение.

В дальнейшем, оставшись после уроков наедине с одной из учениц, он вдруг вновь ощутил возбуждение, несколько раз ударил ее по ягодицам, попытался залезть под одежду, а когда она вырвалась, произошло семяизвержение. Постепенно у него появилась потребность получать сексуальное удовлетворение таким образом.

Первое убийство совершил в 1968 году, когда вечером вышел погулять. Увидел, что рядом идет девочка 10 лет, разговорился с ней. Когда они оказались в отдаленном месте на берегу реки, у него возникло внезапное желание совершить с этой девочкой половой акт. Он не понимал, что с ним происходит, всего трясло. Бросился на девочку, словно озверев, ничего не мог с собой поделать, им овладела животная страсть. Стал рвать на ней одежду, зажимал рот, сдавливал горло, чтобы не было слышно криков. Остановиться в этот момент уже не мог. Вид крови привел его в еще большее возбуждение. В тот момент, когда разорвал руками ее половые органы и стал пить ее кровь, почувствовал, что произошло семяизвержение, и испытал ярко выраженный оргазм. Вместе с тем понимал, что совершил убийство, и, когда понял, что девочка мертва, сбросил труп в реку. После этого испытываемого постоянно преследовала картина, как он залезал руками в половые органы девочки. Не мог забыть этот момент. И когда оказывался в уединенном месте, тяга вновь пережить подобное ощущение усиливалась...»

Елена остановилась, посмотрела на Винсента – переводить ли дальше этот кошмар?¹⁴

Но Винсент сидел не шевелясь и не открывая глаз, только дыхание чуть участилось, это было видно по маленьким клубам морозного пара, вылетающим из его крупного, с горбинкой, римского носа. Елена, тяжело вздохнув, продолжила:

– «Второй эпизод произошел в 1971 году с девушкой, которая на автовокзале подходила к мужчинам и предлагала вступить с ней в половую связь за деньги и спиртное. Они вместе пришли в рощу, где девушка предложила ему совершить половой акт. Однако испытываемый не мог привести себя в состояние возбуждения. Им овладела ярость. Вспомнил садистские моменты из кинофильмов. Вытащил нож и стал наносить ей удары. Когда увидел вспоротое тело, набросился на него, стал кусать его и пить кровь, и вновь самопроизвольно произошло семяизвержение. В дальнейшем такое происходило всегда при совершении последующих убийств. Когда убивал женщин, возникало желание проникнуть в их брюшную полость, вырезать половые органы, рвать их руками и разбрасывать...»

Елена отодвинула папку:

– Нет, я не могу это переводить!

Винсент открыл глаза, посмотрел на нее. В его взгляде было недоумение хирурга, которого отвлекли в ходе операции.

– Что случилось, Элен?

Отвернувшись к замерзшему окну, она молчала. Действительно глупо! Просто слюняйство кисейной барышни! Ее освободили от поденщины на Пятницкой, в Главной редакции иновещания, перевели – с повышением зарплаты! – в высшую категорию переводчиц, а она... Но с другой стороны, что за операцию этот Винсент обсуждал с Ивановым? Почему ее сделали его ассистенткой, не объяснив толком, что ей придется делать?

¹⁴ В романе использованы подлинные акты судебно-психиатрических экспертиз, за что автор приносит свои извинения слабомерным читателям.

– Элен, мы работаем или нет? – строго сказал Винсент.

Она вновь подвинула папку к себе. «Хорошо, если тебе так нравится копаться в этом дерьме, что ты ради этого прилетел к нам из Италии, то сейчас я тебе переведу!»

Ее голос разом потерял все краски, словно высох, и она стала переводить со скоростью и безразличием автомата:

– «Своих жертв он находил на вокзалах, на улицах, в электричках, аэропортах. Когда знакомился с будущей жертвой, обычно предлагал различные подарки. Когда ребенок или женщина отказывались от знакомства, он не настаивал. При этом его всегда удивляло, с какой легкостью они соглашались идти с ним, их притягивало к нему как магнитом. Встречаясь с жертвой, надеялся, что ему удастся совершить с ней нормальный половой акт. Каким образом это произойдет, не планировал, однако, зная себя, допускал, что в процессе полового акта может пойти и на убийство, и потому уводил их в отдаленные места. Убив очередную жертву, он при виде ее крови ощущал сухость во рту, озноб, весь дрожал, набрасывался на нее, кусал губы и язык мертвой жертвы. У женщин откусывал и проглатывал соски, ножом вырезал матку. А у мальчиков – мошонку и яички. Матку и яички кусал зубами, грыз. Это доставляло ему эротическое удовольствие – они такие красные и упругие. Тому же ощущению способствовали просмотренные ранее фильмы о партизанах. Убивая свои жертвы, имитировал виденное в этих фильмах. В ряде случаев во время убийств наступало семяизвержение и возникало желание доставить сперму туда, куда она предназначалась. Хотелось, чтобы все выглядело как при нормальном половом акте. Затем совершал с жертвами половые акты в извращенной форме, а когда не было эрекции, возбуждал свой половой член кровью жертвы, и происходило семяизвержение...»

Перехватив воздух, Елена коротко глянула на Винсента. Но он снова сидел с закрытыми глазами – бесстрастно и откинувшись головой к спинке дивана. Только захватил подмерзающими коленями подол дубленки. «То-то же! – мстительно подумала она. – Это тебе не Италия! У нас нужно под брюками кальсоны носить, а не форсить в феврале своим импортным загаром! Но хрен я тебе скажу, где купить кальсоны, пока сам не попросишь...»

– «После каждого подобного эпизода ощущал резкое улучшение настроения, чувство физической и психической разрядки, усталость, слабость. Порой не сразу приходил в себя. Некоторое время бесцельно блуждал по лесу. Затем, в течение одной-двух недель после этого, чувствовал себя бодрым и жизнерадостным. Однако впоследствии, из-за незначительных конфликтов и неприятностей на работе или при плохой погоде, самочувствие ухудшалось, нарастала тревога, раздражительность, ощущал себя униженным и ненужным человеком. Находясь в командировках, вне дома, чувствовал себя одиноким и потерянным. Когда видел бродяг или женщин в коротких юбках, усиливалось чувство тревоги, возникало половое возбуждение. Пытался удовлетворить это возбуждение тем, что писал множество жалоб, так как именно эта деятельность иногда помогала ему отвлечься от переживаний...»

Елена остановилась, в упор посмотрела на Винсента:

– Переводить следующий акт?

– Конечно... – ответил он, не открывая глаз.

Блин! Он что, кайф ловит на этих текстах? Может, он извращенец, как большинство психиатров?

– «Акт № 1771. Со слов испытуемого Н. известно, что отец его иногда выпивал, но не злоупотреблял спиртными напитками, а мать злоупотребляла алкоголем даже в период беременности. По словам испытуемого, он стыдился ее всю жизнь, слышал, что она умерла от пьянки. А отец – добрый, внимательный, справедливый. Несколько раз избивал его шнуром от электрокофейника. Испытуемый долго не разговаривал, стал говорить ближе к четырем годам. Страдал энурезом. До какого возраста, не помнит. Рос хилым, болезненным. Перенес ряд детских инфекций, простудных заболеваний. В школу его не хотели брать, так как был слабым. Учился плохо. Был тугодум. По характеру формировался замкнутым, необщительным. Приятелей не было. Лучше чувствовал себя среди девочек. Нравилось играть с ними. Мальчишки унижали его, дразнили, называли Марусей, часто избивали. В свободное время ему нравилось помогать по дому, убирать, готовить. Примерно со второго класса у него появилось желание мастурбировать. Затем стал совершать половые акты с животными, в частности с собаками, коровами, курами и индюками. Согласно его показаниям, дома было две коровы, одна из них, бурая, ему нравилась больше. Обычно он подставлял табуретку и совершал с коровой половые акты. Его это очень возбуждало...»

«Боже мой, какая мразь!» – подумала Елена, но тут же ей непроизвольно представилась эта картина: шупленький маленький восьмилетний мальчик, подставив табуретку, тычет своей пиписькой в зад огромной бурой корове. Это было настолько смешно, что Елена чуть не рассмеялась вслух, снова невольно посмотрела на Винсента и обнаружила, что у того под щеточкой усов тоже пляшет на губах улыбка. Гм... Ладно, продолжим...

Голос Елены вновь обрел краски и интонации.

– «Мать сообщила отцу, что он совершает половые акты с курами, после чего отец его выпорол. Кроме того, родители обращались к врачам. После этого он стал реже совершать половые акты с животными. Играл с куклами, отрывал им руки, ноги, имитировал половые акты с ними. Играл с ними по несколько часов в день. Всегда нравилось играть в войну, использовал при этом солдатиков, пробки от бутылок. Расстреливал нарисованных им человечков. Когда уходил в игру, отвлекался от того, что с людьми у него не ладилось. Жил своей жизнью. Когда исполнилось 11 лет, у него умерла мать. Смерть матери не переживал, старался ее не вспоминать. Было стыдно за ее пьянство. Потом отец сошелся с другой женщиной. В возрасте 11–12 лет испытуемый увлекся оружием, все лето проводил в катакомбах и на лиманах, где находил патроны, мины и гранаты, оставшиеся после Второй мировой войны. Нравилось разгуливать по улицам, поднимая автомат вверх. Чувствовал свою силу, превосходство. Часто бросал гранаты и мины в костер, наблюдал за взрывами. Увлекался чтением исторической литературы, читал книги про Чингисхана, Отечественную войну, интересовался описанием боев. С 13-летнего возраста стал увлекаться анатомией животных, изучал строение их внутренних, а также детородных органов. Наблюдал поведение собак и кошек в период гона. В 13 лет стал заниматься онанизмом, но после того, как услышал, что от онанизма вырастают волосы на ладонях, прекратил...»

«А что, это правда?» – захотелось спросить Елене у Винсента, но она не решилась и продолжала:

– «Затем появился интерес к медицинской литературе. Изучал строение женских внутренних органов – матки, яичников. При этом испытывал сексуальное возбуждение, сопровождавшееся мастурбацией. В этом же возрасте надевал женские колготки, нравилась их гладкая поверхность. В период обучения в техническом училище показал себя способным учеником, некоторое время был комсоргом группы. В армии к служебным обязанностям относился халатно. Первый половой акт совершил в 17 лет с девушкой на три года старше, по ее инициативе. В 20 лет женился по любви. В половом отношении, по его словам, жена его не удовлетворяла, он просто притворялся, что ему хорошо, а сам ничего не испытывал. После женитьбы стал ревнивым. По поводу жертв сообщил, что в декабре 1971 года обратил на улице внимание на женщину, которая ему понравилась. Он куда-то ее позвал. Когда женщина побежала, его захлестнула злость, в голове что-то вспыхнуло. Появилась внезапная ярость и одна только мысль: догнать. Догнал, начал наносить удары ножом, затащил ее во двор пустого старого дома, предназначенного на снос.

Чем больше она сопротивлялась, тем больше ему это нравилось, возбуждение возникало еще сильнее. Действия производил машинально, не понимая себя. У потерпевшей начались судороги, она хрипела. Он получал неопишное удовольствие от этого. После того как он ее задушил, он взял шарф потерпевшей и один конец обмотал вокруг ее шеи, а другой привязал к металлической стойке дворового турника так, что голова оказалась приподнятой над землей. Затем он стал ее раздевать. Сначала снял с нее сапоги, потом трусы и стал смотреть на половые органы. Ему хотелось совершить половой акт, но у него не получилось. Он озверел, в ярости он уже не мог остановиться, начал разрезать ей живот, но вид крови еще больше разозлил. Только после отрезания груди нашло просветление, состояние стало возбужденное, радостное. Сколько времени оно продолжалось, не знает.

(При исследовании трупа потерпевшей на ней было обнаружено 33 колото-резаных повреждения на шее, на передней грудной стенке и в области половых органов. Следствие доказало, что повреждения на шее сделаны зубами убийцы. Все повреждения были причинены прижизненно через очень небольшой промежуток времени.)

Затем, по показаниям испытуемого, настроение у него упало, он пошел домой, ему захотелось есть.

С тех пор совершил 19 умышленных убийств, 12 лиц мужского пола и 7 женского. Жертв-женщин выслеживал в лесных массивах, убивал, насиловал мертвых. С мужчинами знакомился в парке. Вторую жертву он задушил руками, сорвал одежду и начал насиловать в задний проход. Закончил половой акт или нет, не помнит. Для получения удовольствия нанес ей несколько ударов ногой по телу, в голову. Затем сделал надрезы ножом на теле, стал отсасывать кровь. Возбудившись, посадил потерпевшую около дерева и отрезал ей голову. При виде хлынувшей крови испытал новое сильное возбуждение, стал пить эту кровь и почувствовал оргазм. Нож и лицо вытер листьями с дерева. После совершенного поехал на работу...»

Елена ощутила приступ подступающей тошноты, но превозмогла себя. Почему-то стало интересно, как при чтении «ужастиков» на втором курсе Иняза, когда преподаватели советовали им читать не Петrarку или Умберто Дэ и даже не Тольятти или Берлингуэра, а – без

всякого словаря – самые простенькие итальянские детективы и «ужастики», чтобы фабулой втягиваться в чтение и словарь обиходного итальянского языка.

– «Следующую жертву он повалил в лесопарке, задушил платком, оттащил на десять метров вправо от тропы, раздел до половины, разрезал ей рейтузы и сарафан, кусал за грудь, высасывал кровь из шеи. Было при этом семьяизвержение или нет, не помнит. Какая она была по счету, не помнит. Затем увел в лес подростка, схватил за горло, задушил руками, после чего полностью обнажил, иссек ножом, отсосал кровь и изнасиловал, приставив к дереву так, чтобы зияло заднепроходное отверстие. Свой половой член не возбуждал, так как при первых глотках крови он возбудился сам. Было или нет семьяизвержение, не помнит. Впоследствии душил все жертвы, раздевал их,пил кровь и насиловал мертвых. Что мужчин, что женщин...»

Брр...

– «Была жертва, которая уцелела. Встретил ее на дороге, стал рассказывать, что проживает с женой и двумя дочерьми, его жена в настоящее время в отъезде, пригласил к себе домой. По дороге они обнимались, целовались, останавливались. Он обнимал ее, левой рукой трогал грудь и гладил тело, а правой стал душить. Когда она вырвалась и побежала, догнал ее, сбил с ног, стал бить головой о землю. Потом снял с нее колготки, обмотал их вокруг шеи и затянул петлю, после чего стал рвать одежду, кусал за грудь, шею, лицо. Затем оттащил в сторону от дороги, в ярости наносил удары ножом вдоль и поперек. Но тут услышал шум мотоцикла и убежал.

Пытаясь объяснить свои поступки, испытуемый утверждает, что проститутки распространяют венерические болезни, поэтому их надо уничтожать.

При переходе на общие или на эмоционально значимые темы испытуемый просит разрешения походить по кабинету, покурить и, курсируя по кабинету взад-вперед, рассказывает, как он изменился в последнее время, стал чувствительным, сентиментальным, может заплакать при просмотре фильма, чтении книги и начал бояться кладбищ, похоронных процессий. Но связывает эти изменения не с совершенными убийствами, а с тяжелыми переживаниями последних лет, когда он похоронил деда и тестя. Фактом углубления садистских действий была, по его мнению, кровь, возбуждающая его необычным образом, с признаками гедонизма, органической приятности. После насыщения кровью и сопутствующего этому семьяизвержения ярость у него сходила быстро, то есть поглощение крови сначала возбуждало, а затем имело успокаивающий эффект...»

«Ну, это-то наконец то, что тебе нужно?» – подумала Елена и с некоторой неприязнью посмотрела на Винсента. Хотя она была в сапогах и двух парах колготок, ноги у нее тоже подмерзли, и хотелось в туалет.

Он открыл глаза:

– Вы устали, Элен?

– Нет, ничего...

– Я думаю, вам нужен перерыв. Вы курите?

– Нет.

– Все равно, а fare pi-pi, можете выйти пи-пи... – Винсент встал и принялся энергично тереть руки и разминать плечи. – Брр, русский мороз! – улыбнулся он. – Идите, идите. Я надеюсь, туалет тут еще не замерз.

Черт возьми, откуда он знает, что ей нужно пописать?

Елена вышла и вернулась через минуту, внутренне смущаясь перед этим итальянцем за вид и состояние туалета в институте. Всегда, когда она сопровождала по Москве иностранные делегации или зарубежных гостей, она с гордостью показывала им Красную площадь, Большой театр, плавательный бассейн «Москва» на «Кропоткинской», станции Московского метрополитена и другие достопримечательности. Но каждый раз, когда эти иностранцы устремлялись в общественные или даже служебные туалеты, ее охватывала паника и стыд за то, что они там увидят. Туалет Института психиатрии имени Сербского не был, к сожалению, исключением из правил...

Вернувшись в кабинет, она застала Винсента у окна – он дышал на оконную изморозь стекла, расширяя в ней маленький, величиной с пятак, глазок, сквозь который можно было увидеть все тот же корпус психдиспансера с зарешеченными окнами.

– Переводить дальше? – спросила она.

Винсент повернулся к ней:

– Конечно.

11

*– ...Знаю Я про его страдания, и снизошел Я избавить его от руки
Египтян и вывести его из той земли в землю хорошую и обширную,
в землю, текущую молоком и медом, на место Хананеев, Хиттеев и
Емореев, Феризеев, Хиввеев и Иевусеев...*

Когда наконец подошла моя очередь и я открыл дверь в комнату «Сохнута», меня ждало новое потрясение. «Этот, такой симпатичный, в свитерочке» оказался Гариком К., другом и учителем моей еще докиношной юности. Конечно, мы не бросились друг к другу в объятия, как это было только что в коридоре с Инной. Но посреди венской зимы палящее апшеронское солнце вдруг вспыхнуло перед нами обоими, и мы оба увидели себя, двадцатилетних, в тесных шлакобетонных комнатках редакции «Социалистического Сумгаита», где вчетвером – он, я, Рафаил Шик и Олег Зейналов – должны были ежедневно писать всю газету, все ее четыре страницы – по полосе на брата. «Старик, дай первую фразу! Любую!», «А давайте на спор: кто больше воткнет слово «Петя» на свою полосу!» – эти и подобные этим забавы подстегивали нашу работу, превращали ее в игру. Впрочем, не для Гарика. Хотя Гарик был ненамного старше меня – ну, на год или на полтора, – но он всегда был взрослее, напористее и жестче: и пером, и словом, и с девушками. А я учился у него всему этому, но, как плохой ученик, усвоил, я думаю, только первое...

Ну а потом жизнь развела нас – я уехал в Москву, во ВГИК, а Гарик женился, остался в Баку, в редакции газеты «Бакинский рабочий». И вот семнадцать лет спустя – Вена, «Сохнут», он по ту сторону стола, а я по эту. Он – израильтянин, сотрудник радиостанции «Голос Израиля», а я – «прямик», «нешира», «отсохшая ветка».

– Старик! – восклицает он своим высоким напористым голосом. – Я понимаю – сестра, я понимаю – другие! Но почему *ты* эмигрировал? Неужели ты не знаешь, что здесь ты уже никогда не будешь ни режиссером, ни даже журналистом?!

– Гарик, ты когда уехал?

– Пять лет назад. А что?

– Как быстро ты все забыл! Неужели и я забуду?

– Что ты имеешь в виду?

– Мне кажется, я увез оттуда не журналиста и не режиссера. Мне кажется, я увез оттуда в себе последние остатки человека, не проданные советской власти. А кем я тут стану, посмотрим. Скажи, в Израиле есть кинематограф?

– Нет.

– Значит, мне там нечего делать.

– Почему? Ты можешь родить сынов, они будут воевать за Израиль.

– Спасибо, это я могу сделать и в Голливуде.

– Ты думаешь, тебя там ждут?

– Гарик, а в «Соцсумгаите» нас ждали? А в «Бакрабочем» нас ждали?

Он посмотрел на меня горестным взглядом отца, пытавшегося удержать сына от похода в бордель, и выписал мне открепление от Израиля. Я встал.

– Сядь! – сказал он. – Расскажи о сестре. Почему она едет в Израиль?

Я рассказал, стараясь быть как можно короче – там, за тонкой фанерной дверью, гудела в коридоре еврейская толпа, потели в очереди люди и плакал чей-то ребенок, может быть, даже Иннин.

– Ты можешь не беспокоиться о сестре, у нас они будут в порядке.

– Но вчера арабы обстреляли ваше посольство.

– Она же не в посольстве, она за городом, в Эбенсдорфе. Не бойся, там такая охрана! – Он снял телефонную трубку, набрал какой-то номер и вдруг заговорил на иврите.

Я, пораженный, смотрел на него во все глаза – черт возьми, неужели и я буду вот так же свободно говорить по-английски, пусть даже через пять лет? И неужели я сейчас буду говорить с сестрой? Впрочем, Гарик всегда был напористее меня...

Похоже, однако, ему отвечали не так, как он хотел, и он повысил голос, но я не мог, конечно, понять ни слова и в его быстром гортанном иврите ловил только частое, чуть ли не в каждом предложении, «слиха».

Наконец он положил трубку и сказал мне:

– Они в синагоге, сегодня там праздник...

– Гарик, что такое «слиха»?

– «Слиха» – это извинение.

Я взял со стола бумажку-открепление от Израиля и стал подниматься.

– Подожди, покурим... – Он протянул мне сигареты. – Ты хочешь кофе?

Да, ему явно не хотелось отпускать меня – что-то, какая-то юношеская нить еще связывала нас, и оба мы понимали в эту минуту, что стоит мне выйти из его кабинета, как она порвется – теперь уже навсегда.

Я неуверенно замялся и кивнул на дверь, за которой уже клочкотала толпа «прямоиков»:

– Там люди...

И вдруг Гарик взорвался:

– Люди?! Это не люди! Ты можешь их не жалеть! Эти свиньи едут в Штаты за жирной похлебкой, так пусть они стоят и ждут! Я их всех приму и всех отпущу, но это только начало их мучений, пусть привыкают! Они знают, на что идут!

В его голосе зазвенело ожесточение максималиста, знакомое мне в нем еще по Сумгаиту, но, кажется, теперь это было уже не только его ожесточение, но и ожесточение всего Израиля по отношению к нам – «прямоикам». Вместо того чтобы выйти замуж за небогатого, но молодого, трудолюбивого и гордого парня по имени Израиль, мы, как последние шлюхи, катим к богатым американцам, канадцам и австралийцам...

– Гарик, но, может быть, они просто ничего не знают об Израиле? Мы же напичканы советской пропагандой и только здесь начинаем получать первые граммы информации...

– Они не знают? – возмущенно перебил он. – Старик, они знают больше, чем мы с тобой! Они получают письма из Израиля, Канады и Штатов и знают, где можно урвать кусок пожирней!

Я пожал плечами:

– Люди хотят жить, это еще не преступление.

– Да? А ты знаешь, что мне сказал один? Вот здесь, в этой комнате, на твоём месте – знаешь, что он мне сказал? Он сказал мне прямо в лицо: «Иди ты на х... со своим Израилем! Ты хочешь подышать за Израиль – иди, воюй и подыхай! А я не хочу!» Вот так и сказал! Еврей еврею! А ты хочешь, чтобы я их жалел! Почему я должен их жалеть, если мои дети в Израиле, а эти везут своих детей мимо?!

Я смотрел в его горячие темные глаза. «Если мои дети в Израиле, то почему эти везут своих детей мимо?» – что-то, как двойное дно, было в этой фразе такое, что зацепило меня и подняло со стула ужасной тревогой за сестру и Асю.

– Слива, Гарик, – сказал я. – Пока! Шолом!

12

– «Акт № 1782. Испытуемый Коловкин Андрей Романович обвиняется в том, что в период с 1967 по 1977 год на территории Московской области совершил ряд умышленных убийств мальчиков, сопровождавшихся насильственными актами, развратными действиями, вампиризмом и мужеложством.

Экспертиза установила:

В юношеском возрасте мать испытуемого перенесла психоз. Но по характеру она спокойная, замкнутая, необщительная, тяжело сходится с людьми, предпочитает занятия чтением, рукоделием. Отец – общительный, коммуникабельный. Начиная с пяти лет у испытуемого появилась вредная привычка, выражавшаяся в мастурбации. Перед засыпанием сына мать замечала, что он прячет ручку в трусах. Объясняла ему, что это делать нельзя, так как он может заболеть, просила положить руки поверх одеяла. С 11 лет стал заниматься онанизмом до двух раз в день. Родители ругали его, даже зашивали карманы. В 12 лет появились первые эякуляции, сопровождавшиеся оргазмом. В 1966 году успешно сдал экзамены и поступил в Тимирязевскую академию на факультет зооинженерии, отделение коневодства. Во время учебы был избит подростками. После этого избиения у него ясно сформировалось желание убить какого-нибудь мальчика или подростка, хотелось увидеть его мучения и физически ощутить состояние его агонии.

После окончания академии работал на конезаводе и стал приглашать мальчиков понаблюдать за лошадьми, за их половыми актами. С одним мальчиком они пошли собирать грибы. Когда тот нагнулся, он резким движением схватил ребенка за шею, начал давить на горло большими пальцами обеих рук. При этом он упал вместе с мальчиком, но продолжал сжимать шею мальчика. Вскоре руки ослабли, и испытуемый понял, что так у него ничего не получится, мальчик сопротивляется. Он слез с мальчика, взял нож и вновь попытался подойти к нему, однако тот продолжал сопротивляться, кричать. Потом вырвался и убежал. А у Коловкина голова гудела от возбуждения. И первое сознательно запланированное нападение на подростков он совершил, уже с самого начала угрожая жертве ножом, – взял испуганного подростка

за руку, повел в лес. Затем остановился, завязал мальчику руки поясом, вынул из сумки кепку, надвинул ему на глаза и повел дальше в лес. Через некоторое время заставил его лечь лицом вниз на землю. Что случилось потом, не помнит. Почувствовал сексуальное удовлетворение, убивать подростка испытуемый не стал, было страшно в первый раз это делать. Первое убийство совершено в 1973 году. Тогда он в поисках мальчика тщательно осматривал поселок и футбольное поле, где играли ребята. Подошел к мальчику, который стоял в стороне с велосипедом, попросил спички, затем схватил за грудь и приказал идти вместе с велосипедом в глубь леса. Сопротивления подросток не оказывал, так как был сильно напуган. Семязизвержение от орального акта не наступило, тогда он потребовал, чтобы мальчик снял трусы и брюки, лег на живот. Затем связал мальчику руки за спиной, с обнаженным половым членом лег на него, накинул на шею веревку, завязал простым узлом сзади и затянул. После этого перерезал мальчику горло, сделал несколько надрезов на мошонке...»

Елена с горестным хрипом выдохнула воздух, она уже по-настоящему устала от этих ужасов. Однако Винсент не реагировал, и ей пришлось продолжать. Но теперь она переводила как бы по поверхности, стараясь не вникать в текст:

– «Следующего мальчика он нашел в лесу, тот убежал на некоторое расстояние от пионерского лагеря. Коловкин неожиданно подошел к мальчику сзади, схватил его за одежду и, угрожая ножом, завел подальше от лагеря в лес. По дороге связал ему руки веревкой за спиной, на глаза надел свою кепку. Перед тем как надеть на него петлю, сказал, чтобы подросток разделся для совершения орального полового акта. Мальчик не понимал, что испытуемый собирается с ним сделать, пока тот не надел на него петлю и не снял кепку с глаз. Когда мальчик понял, то закричать не успел, так как Коловкин уже перебросил веревку через ветку дерева, потянул за конец, повесил мальчика и зафиксировал труп на дереве. Сначала он вырезал у мальчика половой член с мошонкой одним фрагментом, затем нанес несколько ударов ножом в область спины и груди, разрезал грудь и живот до лобка. Все эти действия вызвали у него эмоциональный подъем, хотелось находиться рядом с телом, производить различные манипуляции, что-то вырезать. После достижения экстаза снял тело мальчика из петли, отрезал ему голову. Решил голову взять с собой. Такое же желание возникло у него в отношении половых органов. Сложил их в полиэтиленовый пакет, сунул в сумку, а голову понес прямо в руке. Но потом одумался, голову оставил в лесу, забросил на просеке. Вернувшись домой, достал пакет с вырезанными половыми органами, положил в стеклянную литровую банку и пересыпал обыкновенной поваренной солью. Чувства, обуревавшие его в тот момент, тяжело передать словами. Законсервировав половой член и мошонку с яичками, он их хранил три дня, постоянно созерцая... После изменения цвета органов сжег их в печи.

Следующей жертвой был мальчик, которого он уговорил поехать помочь ему убрать картошку и обещал заплатить за это 10 рублей. Они углубились по узкоколейке в лес, где испытуемый предложил мальчику осмотреть тайник – землянку, где находились старинные уздечки и оружие. Под предлогом, чтобы мальчик не узнал дорогу к его «тайнику», завязал ему глаза черным платком, а руки брезентовым ремнем. Долго водил по лесу, потом задушил

веревкой... Следующим был мальчик, которого он уговорил пойти к нему в гости, посмотреть на его магнитофон, послушать музыку...

Испытуемый в своих показаниях подчеркивает, что старался выбирать ребят куривших, склонных к бродяжничеству, совершению преступления. С такими легче вступить в контакт, их исчезновение не сразу можно заметить. Если он предлагал им совершить кражу, а они соглашались, то сразу попадали в число его жертв. Таким образом он внутренне оправдывал свои действия – этих «плохих» было не так жалко убивать, как хороших благовоспитанных мальчиков.

Когда он купил машину, он подобрал на дороге мальчика 10 лет. Сказал, что ему нужно прокачать тормоза. Привез к себе домой, загнал машину в гараж, закрыл ворота на щеколду и потребовал, чтобы подросток разделся догола и взял в рот его половой член. При этом ножом не угрожал, так как мальчик и так был напуган и не кричал. Тот выполнил его требования. Когда мальчик сосал его половой член, у него было семяизвержение. Затем он вывел свою жертву из машины, накинул на шею петлю, повесил его на скобе, вбитой в стену гаража. Сняв тело со скобы, засунул его в мешок, положил в багажник и поехал в лесничество, чтобы закопать труп. Но когда вынимал из мешка, у него опять возникло половое возбуждение. Чтобы его удовлетворить, ножом расчленил труп. Сначала отрезал голову, затем руки в плечевых суставах, ноги в тазобедренных суставах. Потом вскрыл грудную и брюшную полости, вынул внутренние органы. Во время этих манипуляций с трупом, особенно при выемке внутренних органов, половой член Коловкина стал напряженным, но семяизвержения не произошло. После расчленения сбросил все части тела в выкопанную яму, забросал землей, замаскировал дерном. Затем отъехал и сжег одежду мальчика вместе с мешком.

За следующей жертвой приехал на соседнюю станцию. Сидя на платформе, смотрел, кто голосует в поисках транспорта. Так увидел очередную жертву. Мальчик был среднего роста и телосложения, ноги были полные, волосы светлые. Увидев, что мальчик купил цветы и, выйдя на дорогу, стал голосовать, Коловкин сошел с платформы, завел машину, подъехал к нему и согласился подвезти при условии, что мальчик поможет ему отремонтировать машину в гараже. Тот согласился. Из разговора с мальчиком понял, что тот приехал из другой области. Когда приехали в гараж, пригрозил жертве ножом и потребовал спуститься в подвал. Спустился следом за ним и закрыл за собой крышку. Угрожая ножом, заставил мальчика снять одежду, совершил орально-генитальный половой акт. В обоих случаях было сильное семяизвержение, но успокоения не наступило. После совершения акта мужеложства под предлогом того, что ему необходимо уйти, связал ребенку руки веревкой, затем накинул ему веревку с петлей на шею, а другой конец пропустил через лестницу и потянул вниз, повесив таким образом мальчика. После убийства вынул его из петли, привязал за ноги веревку и в таком положении повесил головой вниз. Затем с помощью ножа отрезал ему голову, спустил кровь в ванну, расчленил руки в плечевых, а ноги в тазобедренных и коленных суставах и с помощью туристского топорика разрубил кости таза...»

Елена почувствовала, что больше не может, что у нее горит лицо и сейчас она ринется из кабинета в туалет рвать. Но какая-то сила, которую она ощутила даже физически, прижала ее к стулу, успокоила рвоту и заставила читать и переводить дальше:

– «Черепом этого мальчика он пугал следующих подростков. Ехал по дороге, заметил двух ребят, голосовавших на обочине. Ребята попросили подвезти их. Он привез их к себе, заставил раздеться. Они не оказывали сопротивления. Он заставил младшего взять половой член в рот, затем в положении стоя совершил с ним акт мужеложства. Следом то же самое проделал со вторым подростком. Потом связал им поочередно руки за спиной, никто из них не кричал и даже не пытался это сделать. Был орально-генитальный акт, сопровождавшийся семяизвержением. После этого задушил первого мальчика, снял из петли и той же веревкой задушил второго. Затем сделал надрезы кожи в области плечевых костей, кожу снял единым лоскутом, изнутри посыпал солью, которую специально принес для этой цели с конюшни. С головы убитого снял скальп, отрезал голову, отчленил руки-ноги, вскрыл брюшную и грудную полости, отрезал половой член. Симпатия к трупу захлестнула его, и он пожалел, что мало его помучил, убил его так быстро...»

Новый приступ тошноты, и новый накат какой-то успокаивающей силы извне...

– «Воображение подхлестывало Коловкина искать все новые жертвы. Чтобы получить психологическое удовлетворение, решил со следующей жертвой воспользоваться паяльной лампой. Проволокой связав очередному мальчику руки за спиной, он повесил мальчика на дыбу, связал ему ноги и паяльной лампой опалил мальчику лицо и волосы на лобке. Когда подросток начал кричать, закрыл ему рот рукой... Мальчик стал просить не убивать его, обещая выполнить любое желание. Убил он этого мальчика путем удушения, перекинув веревку через ступеньку лестницы и предварительно заставив мальчика встать на табурет, который потом выбил из-под него ударом ноги. После агонии ребенка подвесил его тело за ноги вниз головой, отрезал голову и спустил кровь. На легких сделал надрезы, так как интересно было их посмотреть. Затем снял скальп с головы, выколол глаза, отрезал уши, нос, рассек тазовые кости пополам, так как все это очень возбуждало...»

Елена ощутила, что сейчас изнуренно упадет со стула, но какая-то сторонняя сила вновь поддержала ее и словно принудила переводить дальше, не поднимая головы и не глядя на Винсента:

– «Потом он взял сразу трех мальчиков – там же, возле электрички, когда они голосовали. Тоже привез к себе. Связал. С каждым по очереди совершил акты мужеложства, заставлял каждого брать свой половой член в рот. Кроме того, заставлял их по очереди брать в рот половые члены друг друга, облизывать их. Но эрекция при этом ни у кого не наступила. А для него был интересен сам процесс их унижения, их подчинение его воле, отчего у него наступал эмоциональный подъем самоутверждения. С тем чтобы проверить свою власть, заявил ребятам, что сейчас будет их по очереди убивать, что вместе с ними у него будет уже одиннадцать трупов. Реакция была такая, как и у предыдущих, – мольба о пощаде, готовность выполнить любое желание. После сказанного стал поочередно вешать детей. При этом совершенствовал систему пыток, применяя дыбу и дополнительные кольца. Дети, парализованные страхом, не могли кричать, к тому же он всегда имел возможность заставить их молчать – ножом или топориком. Последним он решил убить того мальчика, который понравился ему больше других, – хотел подольше видеть его мучения. Первого мальчика он повесил

на толстой веревке. Когда задушил второго, то подвесил его за ноги и стал расчленять. Третий мальчик в это время сидел в углу на табурете, наблюдал за его действиями и не проронил ни звука. Расчленение трупа на глазах этого мальчика доставляло Коловкину удовольствие. При этом он показывал ребенку, где какие находятся органы, давал пояснения. Мальчик все это пережил спокойно, без истерики. Когда Коловкин закончил «работу», то подвесил и этого, третьего мальчика, Егорова, за руки на крюк и раскаленной проволокой выжег у него на груди нецензурное слово из трех букв. Мальчик пытался кричать от боли, но Коловкин не давал ему это делать, закрывал рот рукой. Снял мальчика с крюка и заставил взять свой половой член в рот. Так как семяизвержение не наступило, то повесил ребенка снова. Когда мальчик задохнулся, испытуемый вынул его из петли, но расчленять не стал, поскольку устал – в эту ночь он никаких перерывов на отдых не делал, все произошло на одном дыхании. Чтобы как-то возбудить себя и восстановить силы, решил попробовать кровь Егорова, третьего мальчика. Вкус крови ему не понравился, но появилось чувство морального превосходства над миром, и произошло семяизвержение.

На следующий день вывез на автомашине трупы трех мальчиков в лес, с помощью лопаты выкопал яму, перенес туда мешки с трупами и там же с помощью ножа отчленил головы, затем руки-ноги. С третьего мальчика снял скальп, выколол глаза, после этого закопал, засыпал дерном.

Хотя в предыдущем эпизоде вкус крови ему не понравился, однако в последующих убийствах он стал пить кровь своих жертв во время их агонии, что сильно поднимало ему настроение, поскольку именно в этот момент происходила эякуляция, хотя он не всегда ее чувствовал. Рассказывает о постепенной отработке деталей совершения преступлений, которые прокручивались в голове, дополнялись или, наоборот, исчезали, однако схема убийства всегда оставалась единой. Когда объект оказывался в его власти, Коловкину становилось легче дышать, появлялось предвкушение радости. Тех, кто казался ему более симпатичным, мучил значительно дольше. Ощущения при этом сопровождалось чувством возбуждения, возвышенности, отсутствием жалости к своим жертвам, так как всегда с целью самооправдания выбирал в качестве жертв мальчиков, склонных к правонарушениям. Сам акт пытки длился до трех часов, был одинаковым, на одном подъеме. Переживания между удушениями и расчленением были различными, но эмоционально это было одной цепочкой, в которой все было связано. Самым приятным был не вкус крови, а акт ее поглощения и вид агонии жертвы – подергивание тела, предсмертные конвульсии и хрипы, безликое выражение лица, остановившиеся, смотрящие в одну точку глаза, вывалившийся язык, непроизвольный акт дефекации и мочеиспускания. При расчленении тел возбуждение возникало от вида их внутренностей. При их созерцании возникали эмоциональный подъем и радостное состояние, нередко заканчивающееся семяизвержением. Созерцания внутренних органов одного человека хватало на момент одного убийства, к моменту завершения расчленения появлялось ощущение пресыщенности. В последующем до появления трупного запаха в подвале Коловкин постоянно возвращался туда, совершал там акты мастурбации, вспоминал подростков, их пытки, рассматривал предметы, взятые у мальчиков. Это состояние могло длиться от одного дня до недели, затем появлялась необходимость совершить новое

убийство. При этом промежуток между убийствами стал уменьшаться, желание убить и насладиться приходило все чаще, поиски были постоянными. Накануне каждого нового убийства представлял и придумывал разнообразные формы пыток и способов подавлять свои жертвы морально. Одним из главных наслаждений было то, что своей властью он разрушает детскую дружбу и даже заставляет детей вешать друг друга. Перемена отношений между детьми в период их гибели, отсутствие борьбы друг за друга, героизма, предательство убеждали его в том, что людям не свойствен героизм, что, когда речь идет о собственной жизни, мальчики легко подставляют товарищей. Думая об этом, прибегал к акту мастурбации, после чего наступало физическое и психологическое удовлетворение, в душе появлялось облегчение, чувство покоя, настроение приближалось к радостному.

Сначала, когда его арестовали, был напуган, но спустя несколько дней испуг сменился чувством облегчения, «свободы», «наконец все закончилось и никогда не повторится». Стал ко всему относиться фаталистически, признал, что собственная смерть его не пугает – «чему быть, того не миновать». В камере СИЗО держится спокойно, обособленно. От встречи с матерью отказался, хотя среди родственников наиболее близким ему человеком была мать. Характеризует себя спокойным, замкнутым. Мышление конкретное, формальное, целенаправленное, последовательное. Подчеркивает, что ценит в людях порядочность, принципиальность, честность. Отмечает, что хотел бы избавиться от застенчивости, которую считает своей основной отрицательной чертой...»

Кренясь и падая со стула, Елена почувствовала, как ее подхватили чьи-то руки, но у нее уже не было сил даже поднять глаза и посмотреть, кто это.

Винсент отнес ее на диван, уложил, растегнул верхнюю пуговицу на блузке и стал делать над ней медленные пассы, говоря по-итальянски негромко, речитативом:

– Tutto a posto... Все хорошо, все в порядке... Вы погружаетесь в сон и забываете все, что прочли... Вы забываете все, что прочли... – И вдруг приказал: – Вы забыли! Вы уже забыли все, что прочли... И теперь вы просто спите, набираетесь сил... – И опять мягко, речитативом: – Вы спите глубоко, покойно и чувствуете, как в вас проникает солнечная энергия... Солнечное тепло разливается по всему телу, входит во все мышцы и капилляры... Ваши щеки розовеют, вам видится хороший сон, но вы начинаете просыпаться, потому что сюда идут... Все, просыпайтесь!

Винсент чуть слышно хлопнул над Еленой ладонями, и она проснулась, удивленно захлопала своими начерченными ресницами:

– Где я? Я уснула?

Винсент улыбнулся:

– Ну, немножко. Вы просто устали. Мы с вами в Институте психиатрии, и сейчас сюда кто-то войдет. Садитесь.

Она удивленно и послушно села, увидела на столе толстенную папку с актами психиатрических экспертиз и уставилась на нее, хмуря лицо и пытаясь что-то вспомнить. Но в этот момент открылась дверь, в кабинет вошел заведующий лабораторией судебно-психиатрической экспертизы профессор Демидов.

– Ну? – бодро сказал он Винсенту. – Как вам наши маньяки? – И тут же перевел себя на английский: – What do you think of our maniacs?

– I like them, – без улыбки ответил Винсент.

– Do you want to meet them?

– Not all of them. Just one.

– Which one?

– I don't remember his last name, but his number 1769. The one who was trying to influence people throw the telephone lines¹⁵.

Елена озадаченно тряхнула головой – о чем они говорят? Какой номер 1769? И кто тут пытался воздействовать на людей через телефонные линии?

13

– ...воплъ сынов Израилевых дошел до Меня, и видел Я угнетение, каким Египтяне угнетают их. Так пойди к Фараону, Я посылаю тебя, и выведи народ Мой, сынов Израилевых, из Египта...

Весь квартал на Антонфранцгассе, 20, где находилось Израильское посольство, был блокирован полицейскими машинами, а перед посольством – широким и приземистым бетонным зданием без единого окна – работали асфальтовые катки, бетономешалки и рабочие – все как один в чистеньких комбинезонах и оранжевых пластиковых касках. Мне трудно сказать, как вчера, после арабского теракта, тут выглядели ворота, будка охранников и парадный подъезд посольства (я не покупаю газет, ведь я не знаю немецкого, и не смотрю телевизор, поскольку его можно получить в отеле только за дополнительную плату), но сегодня следов этого нападения практически не было – сколько ни озирался я по сторонам, пока австрийский полицейский передавал листочек с моей советской визой какому-то молодому израильтянину в штатском, а тот по рации связывался с кем-то в посольстве и на гортанном иврите сообщал, что я хочу срочно видеть консула. Потом он же меня обыскал и ощупал от щиколоток и паха до спины и подмышек и проводил от проходной к подъезду посольства. Этот подъезд представлял собой уникальное, на мой взгляд, сооружение: наружная дверь из толстого темного стекла открывалась изнутри только с помощью какой-то особой сигнализации; за дверью был узкий тамбур со стенами из бронированной стали и узких окошек-бойниц, а следующая дверь была стальная, как в салехардском лагерном ШИЗО, где я снимал свой первый фильм. За этими окошками и были, видимо, те пулеметы, из которых израильские командос расстреляли бы арабов, если бы они прорвались в посольство. А за стальной дверью оказалась еще одна ловушка – узкий Г-образный тамбур, где меня снова обыскали и ощупали, перед тем как впустить в пустую маленькую комнату с двумя закрытыми и зарешеченными окошками.

Надписи на окошках были только на иврите и по-немецки. Поскольку я не читал ни на одном из них, я сел на стул и стал ждать. Минут через пять лязгнуло, открываясь, одно окошко, женский голос что-то сказал на гортанном иврите, и я догадался, что это обращено ко мне.

Я встал, подошел к окну, произнес «Шолом» и на своем смелом английском сказал, что мне нужно видеть консула.

– I'm a consul, – ответила сидевшая за окном загорелая девица в защитной гимнастерке-апах и с насмешкой посмотрела мне в глаза.

Я понял, что она врет, но деваться мне было некуда, и сказал, что в замке Эбенсдорф находится моя сестра с дочкой и мне нужно срочно с ними увидеться или поговорить по телефону.

– Why? – спросила она.

– What do you mean – why?

– Why you need to see her?

¹⁵ – Что вы думаете о наших маньяках?– Они мне нравятся.– Хотите с ними встретиться?– Не со всеми. С одним.– С кем именно?– Я не помню его фамилию, но его номер был 1769. Тот, который пытался воздействовать на людей по телефонным линиям (англ.).

– Because she is my sister and she has an asthma. I was calling there twenty times, and each time I was told she is having breakfast, dinner or she is in a synagogue. But my sister is not religious, she cannot be at the synagogue all day¹⁶.

Этот длинный монолог я заготовил заранее – так же как заявление, что я не выйду из посольства до тех пор, пока меня не соединят с сестрой. И похоже, эта решительность настолько ясно читалась в моих глазах и в голосе, что девица, пронзив меня испытующим взглядом, встала, хлопнула окном и ушла куда-то.

Я остался в абсолютно пустой комнате и, постояв минуты три у закрытого окна, снова сел на стул.

Делать было нечего, и я попытался представить себе, как рослые израильские коммандос, ощупывавшие меня у входа и еще вчера отбившие нападение арабских террористов, будут теперь выносить меня из посольства, а я буду орать во весь голос, что это нарушение Хельсинкской декларации о правах человека (этот текст по-английски был у меня тоже заготовлен), и объявлю голодную забастовку у ворот посольства – до тех пор, пока меня не соединят с сестрой.

Так, настраивая себя на военный конфликт с Израилем, я просидел еще минут пять. Потом окошко с тем же лязгом открылось, и девица сказала:

– Mister Plotkin, your sister and her daughter just left for Israel.

– What do you mean – left?

– I mean they are now landing in the airport Ben Gurion in Tel-Aviv. Good luck in your America!¹⁷ – И с презрением в глазах она захлопнула свое окошко.

14

– Вампиризм не такая уж редкая вещь, как вам может казаться, caro mia. Вы порезали палец, увидели кровь, и первым делом что вы сделали? Сунули его себе в рот и стали сосать кровь, правильно? Значит ли это, что вы вампир? Нет, конечно. Но почему же вы стали сосать свою кровь? Причем тут же, инстинктивно! Потому что в подкорке, в вашей генетической памяти записано: кровь – это жизнь. Мы можем остаться без глаз, без ушей, без рук и без ног, но мы живы. А без крови мы трупы, кровь – это самое ценное, что у нас есть. Евреи считают, что душа находится в нашей крови и с кровью из человека выходит. Поэтому кровью, как душой, клялись, расписывались и кровью кропили жертвы богам. Выпить чашу крови своих врагов считалось не просто доблестью, но и обретением силы, здоровья. Вся Южная Америка покрыта пирамидами алтарей ацтеков, толтеков и майя, которые убивали своих пленных не десятками и не сотнями, а сотнями тысяч и делили с богами их плоть и кровь. Кстати, вы никогда не задумывались, почему у каждого народа вкусы богов всегда совпадают с вкусами верующих? Это интересный вопрос! Еврейский и мусульманский боги с отвращением относятся к свинине, конине, собачьему мясу и человечине, а христианский и буддистский – только к человечине и собачьему мясу. Зато свинину и конину – пожалуйста! А китайские боги благоволят к собачьему мясу, а боги ацтеков и майя собачьим мясом брезговали, зато любили человечину настолько, что поесть ее было привилегией только священнослужителей, вождей и воинов. Но все – буквально все боги, интернационально – принимали в жертву кровь. Причем у тех народов, которым вкус человеческой крови был не по вкусу или не по карману – как, например, евреям, – им разрешалось подменять эту жертвенную кровь кровью ягненка

¹⁶ – Зачем?– Что значит – зачем?– Зачем вы хотите ее увидеть?– Потому что она моя сестра и у нее астма. Я звонил туда двадцать раз, и каждый раз мне говорили, что она на завтраке, на обеде или в синагоге. Но она не религиозна, она не может весь день быть в синагоге (*англ.*).

¹⁷ – Мистер Плоткин, ваша сестра с дочкой уже улетели в Израиль.– Что значит «улетели»?– Это значит, что сейчас они уже садятся в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве. Удачи в вашей Америке! (*англ.*)

или курицы. Зато эскимосы, например, и по сей день пьют оленью кровь и едят сырое мясо убитых оленей – еще теплое. Да и мы с вами только что съели по замечательному куску мяса с кровью – как это называлось?

– Мясо по-суворовски, – вынужденно улыбнулась Елена.

Действительно, мясо по-суворовски, которое делали в ресторане Дома журналиста на Суворовском бульваре, было прекрасным – нежное, сочное, с той темно-розовой кровоточинкой, которая так аппетитно брызжет под вилкой и ножом.

Елена почувствовала, как приятная сытость сонно разливается по телу, и ей вдруг захотелось зажмуриться и мурлыкнуть, как кошка. Черт побери этого Винсента, почему с первой минуты общения с ним ей так покойно и доверительно в его обществе? Нет, нужно выпить черного кофе, встряхнуться и взять себя в руки. Никаких расслаблений, она на работе! И самое неприятное в этой работе то, что сегодня же вечером ей предстоит сесть и написать подробный рапорт-отчет обо всех разговорах с этим Винсентом. Именно из-за этих рапортов Елена нередко старалась увильнуть от обслуживания иностранных делегаций и зарубежных правительственных гостей. Но деньги, деньги – даже лишняя десятка к зарплате – были так нужны! В конце концов, сколько она получает в своей Главной редакции на Пятницкой? Аж сто тридцать в месяц! И еще нужно считать, что ей повезло, ведь сюда лезет по благу весь Иняз, все дочки кремлевской и московской элиты, которым и деньги-то не нужны – что им эти сто тридцать, когда пара приличных сапожек стоит двести рублей! Но их – в их лаковых итальянских сапожках, французских блузках и канадских дубленках – привозят на работу машины их партийных папаш и мужей, а ей ради дубленки придется еще три месяца сидеть на одном «Геркулесе», и она так похудела, что сисек не осталось...

Боже мой, как она наелась! О чем он говорит, этот Винсент? Ведь она должна хоть что-то запомнить для своего рапорта! Тем более что на этот раз рапорт нужно сдать не в Первый отдел Радиокомитета, а непосредственно Иванову, помощнику Андропова!..

– А другой стороной вампиризма, дорогая, является наша древняя вера в то, что кровь обладает целебными и даже омолаживающими свойствами. Гм, между прочим, тут замечательный кофе! И вообще мне тут нравится, давайте будем обедать тут каждый день... О чем я говорил? Да, вампиризм! Вы, конечно, слышали о нашем императоре Клавдии Нероне Тиберии, который правил нашей империей в начале первого века? Между нами говоря, это был ужасный мерзавец. Смолоду он устраивал у себя во дворце ночные оргии, а потом затаскивал юных девушек в постель, перегрызал им артерии и сосал их кровь, от которой пьянел больше, чем от вина. Брр, я понимаю ваше отвращение, меня и самого передергивает. К тому же, как ни странно, на пользу Тиберию это не пошло – очень скоро у него выпали все зубы и волосы, он превратился в инвалида. Однако веры в чудесную силу крови, которая должна обеспечить ему бессмертие, не терял, и каждое утро ему подавали на завтрак два громадных кубка со смесью женского молока и крови девочек, которым вскрывали артерии буквально за несколько минут до этого. Кроме того, он ежедневно принимал ванны в такой же смеси женского молока и крови. Но как мы знаем, бессмертия он все-таки не обрел, а, наоборот, захлебнулся в крови своих жертв. Так что все как в кино – порок наказан, тиран погиб. Однако маленький тиран сидит, конечно, в каждом из нас, и сейчас я на правах гостя попрошу вас погулять со мной по улице – я еще никогда не гулял по снегу, у нас снег если и бывает, то раз в десять лет, и то какой-то жидкий, мокрый...

я слушался голоса его отпустить Израиля? Не знаю я Господа, и Израиля не отпущу.

Дорогие мои, золотые мои Белла и Асенька! Все эти дни я разговариваю с вами – почти каждый час. Я хожу в «Сохнут», читаю израильские русские газеты, выискиваю в них все, что может иметь отношение к Тель-Авиву и проблемам абсорбции, и мне кажется, что все это – мне в укор. Сегодня я ехал в трамвае, читал «Нашу страну» за 1 февраля и вздрогнул: «Представитель полиции сообщил, что сегодня в 10.30 утра произошел взрыв у остановки автобуса № 18 по улице Алия в Тель-Авиве...» Но ниже строкой – «никто не пострадал». Сердце застучало дальше... Я читаю эти газеты, и в каждой из них: «Фейгин в своем выступлении отметил, что правительство Израиля несет полную ответственность за провал алии из СССР... с чувством боли и обиды Фейгин говорил о дискриминации специалистов из СССР, о том, что положение с квартирами для прибывающих из России олим катастрофическое...»

Я читаю эти статьи, разговариваю с работниками «Сохнута», пытаюсь представить себе вашу жизнь в Израиле и – не могу. Потому что не знаю, в какую сторону направить свое воображение.

А что касается меня, то – донт трабл, я чудно устроился. Я живу в крошечном отеле, в чистеньком номере-клетушке с окном, выходящим в дворový колодец, из этого окна рукой достать до окна общего туалета, и по утрам меня будит шум спускаемой в унитаз воды. Я сижу в этом номере на кровати, держа на коленях свою пишмашинку с выбитым на Шереметьевской таможене зубом, и в ногах у меня (тайком от администрации отеля) варится на плитке венская курица по девять шиллингов за кило.

Ну что еще нужно мне для работы?

Целыми днями я хожу по еврейским гнездовьям в пансионатах мадам Беттины и смотрю, как живут там люди, потому что мне это важно для будущего фильма. Господи, Белла, ты бы видела эти «пансионы», из которых еще не выехали проститутки, их вчерашние обительницы! Сотни семей – в тесноте, скученности. Орут малыши, галдят одесские женицины, а толстые австрийские шлюхи, брезгливо, как цапли, переступая своими обтянутыми джинсой ногами через ползающих по полу детей, ведут в соседние комнаты своих пузатых клиентов. Рядом на вытертом плюшевом диване сидят наши подростки – они уже все понимают, хихикают вслед проституткам и засекают время по своим советским часикам «Заря» и «Слава». Ровно через пять минут вновь появляется эта пара и, поигрывая ключами от машины, проститутка провожает клиента, садится в свой жучок-«фольксваген» и уезжает за новым гостем. Что успевают они за пять минут? Только пылкое воображение подростков может ответить на этот вопрос. А я...

Я не могу представить вас в этой обстановке! А когда заставляю себя, когда селю вас мысленно в «Зум Туркен» или «Вульф», то разом вижу перед собой огромные Аськины глаза, которые воззрились бы на меня с пугливым испугом: «Дядя Вадик, куда ты нас привез?» Белла Давидович, наша знаменитая пианистка, живет со своей мамой и теткой в двухместном номерушке, куда втиснули еще одну койку. Миша Фридман, победитель музыкального конкурса в Брюсселе, ютится с женой в одноместном номере, где вместе с ними еще одна семья из трех человек и какая-то шестая женицина, к ним не относящаяся. А я – один! – занимаю целую комнату, пусть и величиной со школьный пенал! Почему? Потому что, оказывается, мадам Беттина смертельно боится, что я покажу в своем фильме этот бардак! Ну, может быть, не смертельно, но – на всякий случай поселила меня от своего греха подальше...

Но если она меня убоялась, то, значит, у меня все-таки есть шанс сделать свой фильм!

Впрочем, Гарик К., работающий сейчас в венском «Сохнуте», – ты помнишь его по Баку? – увидев меня, изумился:

– Старик, я понимаю – сестра, я понимаю – другие, но почему ты эмигрировал? Разве ты не понимаешь, что здесь ты уже никогда не будешь режиссером?!

– Едрена вошь! – сказал я ему, обозлившись. – Как быстро вы забываете, откуда бежали! Да, я там делал кино, у меня была машина, любовницы и аплодисменты зрителей. Ну и что? Разве ты не помнишь, что все это – в концлагере, что все это – развлечения заключенных? Я думаю, что и в Дахау кто-то имел свои привилегии, а на завтра шел вместе со всеми в газовую камеру...

Но он эмигрировал пять лет назад и уже все забыл...

16

Как случилось, что она привела Винсента к себе домой? В первый же день! Сразу после ужина в Домжуре! Ну хорошо – пусть не сразу, пусть они час гуляли по морозной Москве, и он уже перестал страшить ее этими ужасами вампиризма, а только восхищался хрустом снега под ногами, заснеженным Тверским бульваром, памятником Пушкину у кинотеатра «Россия» и памятником Маяковскому возле гостиницы «Пекин». И пусть он замерз так, что у него побелели щеки, а все уже было закрыто – и «София», и «Баку», и ресторан в гостинице «Пекин». Но даже если она привела его погреться к себе на Вторую Миусскую, в комнату, которую снимала за тридцать рублей в месяц, как случилось, что они тотчас же оказались в постели – вместо чая и без всяких предварительных слов, обаяний, нежностей и поцелуев?

Впрочем, теперь, изнемогая от наслаждения, взлетая от пронзительного жара его плоти и падая в пропасти от остроты пульсации собственной ластуши, Елена, конечно, не думала об этом.

– Еще, еще!..

Господи, что с ней творится?!

– Per favore, ancora!..

Да, вся ее чувственность и эротизм, запертые, оказывается, годами в панцире совкового бытия и забытые там, как потухший вулкан, вдруг хлынули наружу, изумляя ее саму обильными выбросами ее раскаленной магмы, бурным сотрясанием всего ее тела и острым, неумным вожделением нового извержения.

– Ancora! Ancora! Piu profondo!

– Come ti piace?

– E tanto buono! E meraviglioso!

– Non fermare!

– Sprodamì! Muoio! M'amazzi! Sfondatemi!

– Ancora! Ancora!

– Mi fai impazzire! Mi hai empito! Sono una fontana!

– Succhialo! Ingoialo! Piu profondo! E tanto buono!..¹⁸

Черт возьми, так вот почему эти итальянки столь крикливы и экспансивны! Еще бы – при таких мужчинах!..

Выпотрошенная, невесомая, никакая и абсолютно счастливая, она лежала, прижавшись к Винсенту своим тонким обессиленным телом. Где-то сбоку, на периферии ее сознания всплыла мысль о рапорте, который завтра утром нужно сдать Иванову, но она тут же лениво и небрежно, как муху, отмахнула эту мысль и шепнула Винсенту:

– Я мертвая. Можно, я признаюсь тебе кое в чем?

– Конечно. – Он гладил ее по голове и остренькому плечу.

– Мне двадцать шесть лет, но у меня никогда такого не было. Я даже не знала, что такое возможно. Конечно, я читала про это в книжках, особенно в ваших, итальянских. Но думала, что это вранье, литература. А теперь...

¹⁸ Перевод этих выражений страсти автор доверяет творческому воображению читателей.

Он усмехнулся:

– Тебе понравилось?

– Не издевайся. Знаешь, даже когда я была замужем, я относилась к этому, как к мытью холодильника – ну, нужно сделать раз в месяц. А теперь... Ну-ка повернись! Повернись на живот!

– Зачем?

– Я хочу проверить, нет ли у тебя хвоста. Я думаю, ты дьявол.

– Конечно, я дьявол. Но лучше ты повернись на живот.

– Как? Опять? Нет, я не могу, я умру!..

17

*– И сказал Господь Моисею: теперь увидишь ты, что Я сделаю с
Фараоном: ибо настоящим сильным отпустит он их...*

Мы встретились у собора Святого Стефана. Я пришел на полтора часа раньше назначенного на 8 вечера свидания – мне некуда было деться после ХИАСа, где я отдал Дэвиду Харрису свою статью «Как КГБ отомстил сенатору Джексону» в надежде, что он отправит ее в какую-нибудь американскую газету. Был морозный ветреный вечер, зовущие теплом окна венских кафе и магазинов на Кертнерштрассе, а я мерз на улице, проклиная себя за то, что позвонил этой Эльжбете, и пытаюсь увидеть все это со стороны, с точки зрения кинокамеры – вот я стою, сорокалетний мудака в коротком монгольском кожаном пальто, мерзну у витрин, вдоль которых с таким восторгом шляются каждый день эмигранты, примеривая на себя эту импортную жизнь, мебель и шмотки, иногда захожу погреться в собор Святого Стефана, но сесть в нем на скамейку для прихожан не решаюсь – шут его знает, как отнесется к этому наш еврейский Бог, я стал в эмиграции не то чтобы набожным, но шепетильным в вопросах религии. И потому я просто стою и греюсь в этом гойском костеле, а затем опять выхожу на темную улицу и прохаживаюсь вдоль сияющих магазинных витрин походкой облезлого пса, твердо зная, что вся эта роскошь, сытость и тепло по ту сторону дверей – это антимир, в существовании которого мы уже убедились, но перейти в который абсолютно «импосибл», то есть невозможно в нашем нынешнем собачьем положении. Как австрийцы живут в этом мире, хрен их знает! Как и откуда у них такие деньги – сидеть в этих дорогих кафе, покупать эти роскошные вещи, жить в этих чистеньких фарфоровых домах и ездить в этих лакированных машинах? Да, там, в моей прошлой советской жизни, где не было этих витрин, а была только грязь Бескудниковского бульвара, грязный картофель в магазинах, очереди за мясом даже в буфетах «Мосфильма» и бездарь нашего киношного руководства, помноженная на их желание угодить только одному богу – ЦК КПСС, – там, повторяю, именно в той жизни осталась моя роскошная жизнь, то есть мой статус преуспевающего киношника, мой зеленый «жигуленок» и русские женщины, которые меня любили. То были красивые женщины – о да! уверяю вас! Любая из них, если одеть ее в эти венские шмотки, лучше всякой австрийской красотки, которые проходят и проезжают сейчас мимо, глядя сквозь меня целлулоидно-рыбьими глазами как сквозь ничто. А если не одевать их, а, наоборот, раздеть, то, Боже мой, куда этим австрийским плоскодонкам! Однако все мои русские дивы остались в России – все до одной, вот только Инна здесь, но с мужем и с дочкой, и это уже не твоя женщина, брось и думать, а твоя Инна тоже осталась там, в той абсолютно пустой комнате, которую я в юности снимал над магазином «Динамо» на улице Горького и где она так любила, раздевшись догола, забраться на подоконник и глазеть сверху на Москву, полыхая на солнце кулачками своих упругих грудок, а затем прямо с подоконника прыгнуть на мой шестирублевый, с выпирающими пружинами диван...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.